



ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

Издается с января 1966 года
САРАТОВ

9-10 (440)

2012

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

Сергей Шикера. Маклер. <i>Рассказ</i>	3
Софья Серебрякова. Из цикла «Азы». <i>Стихи</i>	11
Зиновий Зиник. На безрыбье, или Принцип неопределенности. <i>Рассказ</i>	15
Дарья Верясова. Муляка. <i>Повесть</i>	30
Дмитрий Чернышев. «Это кем-то наведённый морок...» и др. <i>стихи</i>	54
Александр Петрушкин. «Энтомология» и др. <i>стихи</i>	58
Арсений Ли. «И морось, и запах влаги, и мыльный дым...» и др. <i>стихи</i>	63
Александр Дьячков. «Детский дворик похож на пустыню...» и др. <i>стихи</i>	65
Михаил Окунь. Каждый третий. <i>Рассказ</i>	69
Михаил Бару. Навоз божьих коровок.....	75
Ирина Косых. Ади. Заказное самоубийство. <i>Рассказы</i>	104

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ

Сергей Фомин. «Бесшумный лёт велосипедный...» и др.	127
Ольга Коробкова. «Имя твоё опустело...» и др.	130
Виктория Марченкова. «вы свободны...» и др.	132

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Данила Давыдов. Эмблематическая проза.....	134
Станислав Секретов. Долгая дорога в дюймах.....	136
Алексей Колобродов. Ворошиловград и Миргород.....	138
Борис Кутенков. В предвкушении тишины.....	140
Сергей Слепухин. Читая себя изнутри.....	142
Олег Рогов. «...На книжную полку воткнут».....	144

КИНООБОЗРЕНИЕ

Иван Козлов. Фреска, сказка и пиф-паф.....	146
---	-----

МАКЛЕР

Рассказ

Однажды в конце марта среди вечерних пассажиров троллейбуса Смирнов увидел своего маклера. Мечта о такой случайной встрече была одной из тех пустых фантазий, которыми он, с недавних пор бездомный бродяга, невольно тешил себя последнее время. На мгновение они встретились взглядами, и маклер, парень лет двадцати пяти, его не узнал. Или, скорее, не разглядел: он был очень близорук, но очки, если не имел дело с бумагами, не носил. Когда маклер вышел, Смирнов последовал за ним, пытаясь по дороге вспомнить, как его зовут: то ли Макс, то ли Влад – что-то такое, усеченное и потому не запомнившееся. Стас? Громоздко-певучему «риэлтор» Смирнов предпочитал старорежимное «маклер».

Около трех лет назад теща Смирнова, уступив уговорам дочери (результат неутомимой подрывной деятельности зятя), согласилась на разъезд. Как и было задумано, обе сделки – продажа огромной квартиры в центре, в которой они жили втроем, и покупка двух ими отобранных – состоялись одновременно. При этом значительная сумма еще и осталась у них на руках. После подписания бумаг и передачи денег маклер выпросил у пьяного от радости Смирнова под расписку две тысячи долларов как гарантию того, что все они съедут в отведенный срок и ни на день позже. В суете переезда Смирнов про расписку забыл, а когда спохватился, не смог найти. Телефон маклера не отвечал; агентства, в котором он работал, на прежнем месте не оказалось. Горевал Смирнов недолго и, списав потерянные деньги в непредвиденные расходы, успокоился на мысли, что новая тихая мирная жизнь того стоит. Первый год она такой и была. А потом они с женой как с цепи сорвались. Дальше – больше: потеря работы, алкоголь... В общем, все сбылось по слову тещи, до глубины души оскорбленной затеей с разменом и напороочившей при разъезде: «Без меня вы долго не протянете». Или то было обещание? Во время последней ссоры Смирнов, как за ним уже повелось, грохнул что было силы бронированной дверью, а когда, спустя несколько дней, вернулся, обнаружил в ней новый замок. На настойчивые звонки и стук отозвался телефон в кармане. «Твои вещи в мастерской у Монахиди, – сказала жена. – Сюда больше не приходи». Сидя на высоком табурете возле открытой остывающей печи, поглаживая волосатую грудь, керамист Монахиди подробно описал рослого, весьма уверенного в себе молодого человека, с которым жена Смирнова принесла в мастерскую вещи, и сказал, что видел его впервые; Смирнов же, судя по описанию, не видел никогда. Ему, впрочем, было не до того: он все-таки надеялся, что слова жены окажутся злым розыгрышем. В углу стояли пакеты и его большой походный рюкзак. Как просто: замок, вещи – и вот он, в неполные тридцать пять, бомж, клошар. С той минуты не было и дня, чтобы он не пожалел о своей комнате в коммуналке, о которой прежде вспоминал только от скандала к скандалу. Деньги от ее продажи, все до копейки, были потрачены на свадебное путешествие в Европу и Марокко. Что за затме-

Сергей Шикера родился в 1957 году. С 1978 живет в Одессе. Публиковался в «Новом мире»; в «Волге» напечатаны роман «Стень» (2009, №№9–10, 11–12), «Идущий против ветра. Записки неизвестного» (2010, №7–8).

ние на него тогда нашло? Он еще и продал ее – в спешке, не торгуясь – перед самым бракосочетанием, так что, расписываясь, уже не имел ни кола, ни двора. Оттого и теперь, проведя более полугодя в скитаниях по знакомым, кое-как перебиваясь частными уроками и переводами, не мог решиться на развод с разделом имущества, к которому, как сам себе признавался, не имел никакого отношения. Хотя понимал, что ничего другого ему не остается. Последний месяц он жил в набитом китайцами под завязку общежитии, в комнатке приятеля, уехавшего на заработки в Москву.

...Маклер свернул на Польскую, в сторону Таможенной площади, и в конце квартала вошел в продуктовый магазин. «Домой идет», – подумал Смирнов. Он стоял под густо усыпанной мелкими стручками софорой и видел, как маклер ходит по ярко освещенному магазину. Ждать пришлось долго. Рядом шумел бойкий перекресток. То и дело внизу, в порту, раздавалось одинаковой силы громыханье, как будто там раз за разом роняли одну и ту же груды металла; оттуда же плотно дул холодный сырой ветер. Стоило лишь закурить, как маклер с пакетом появился у выхода. Смирнов отступил за дерево, погасил сигарету об ствол и спрятал ее в пачку; курить на ходу он не любил.

Маклер шел, опустив голову, спрятав свободную руку в карман плаща. За Строгановским мостом свернули во двор. Когда маклер набрал код и потянул дверь подъезда, Смирнов быстро подошел и сказал:

– Добрый вечер. А я к вам.

– Ко мне?

– К вам. Ваш бывший клиент.

Через четверть часа Смирнов сидел напротив переодевшегося в клетчатую рубашку и в старые джинсы хозяина.

В довольно большой, с высоким потолком комнате было немного мелкой мебели, отчего комната казалась еще просторней. Кроме диванчика, на котором сидел Смирнов, и низенького столика между ним и маклером, тут были еще только платяной шкаф, манекен, гладильная доска и стол со швейной машиной между окон; там же на полу стояла пара больших клетчатых сумок. Из открытого дверного проема по левую руку доносилась музыка.

К удивлению Смирнова, маклер не стал ломать комедию. Он слушал, кивал, часто и протяжно моргал и, время от времени ежась, почесывал то одно плечо, то другое. А вот сам Смирнов с каждой минутой, с каждой следующей фразой всё больше изумлялся абсурдности своего визита. Это что же с ним такое? Зачем он сюда шел? чего ждал от этой встречи? А что если ему скажут: ну хорошо, давайте вашу расписку – что тогда?

Выслушав гостя, маклер рассказал, что их сделка была для него первой и последней, через неделю хозяина убили, агентство закрыли, и он уехал домой, в Арциз, недавно вернулся. Из рассказа, а еще больше из впечатлений от увиденного Смирнов сделал вывод, что ни о каких деньгах не может быть и речи, и почувствовал некоторое облегчение. Куда неприятней было бы, окажись маклер при деньгах. Вот уж тогда нашлось бы, о чем пожалеть. А так – ну что ж: на одну бессмысленную надежду стало меньше. Скупой рисунок жизни стал еще суше, только и всего. Будто сморгнул размывающую взгляд поволочу. Однако было отчего-то неловко сразу встать и уйти. Не говоря уже о естественном желании оттянуть, по возможности, возвращение в общежитие. Поэтому когда маклер предложил чаю, он согласился.

Пока маклер отсутствовал, музыка в соседней комнате сделалась тише, и женский голос позвал Алекса.

– Он вышел, – сообщил Смирнов.

– Ушел?

– Нет. Сейчас вернется.

Музыка зазвучала громче, еще через минуту оборвалась, и из соседней комнаты вышла девица в черном кожаном комбинезоне, с сумочкой на плече. Не глянув в сторону Смирнова, она прошла к двери, распахнула ее и выкрикнула в коридор: «Алекс!» Опустив лицо, послушала тишину, потом повернулась к Смирнову и подняла на него густо накрашенные глаза.

– Идемте, на кухне подождете.

Смирнов поднялся, но в комнату уже входил маклер Алекс с подносом.

– Извини, – сказал он девице. – Все в порядке.

– Будешь ложиться, не забудь все закрыть, – сказала та и вышла.

На подносе стояли две большие, темные изнутри от чайной накипи чашки, чайник и блюдо с печеньем.

– Строгая, – усмехнулся Смирнов. – Собиралась меня гнать на кухню.

– Боится, – ответил Алекс, разливая чай. – Нас перед Новым годом обокрали.

– Подруга?

– Работаем вместе. Может, хотите выпить?

Смирнов неопределенно качнул головой. Маклер опять ушел на кухню, прихватив поднос, и принес на нем тарелку с нарезанными хлебом и сыром, темную бутылку и пару рюмок, наполненных ядовито-зеленой жидкостью.

– Что это?

– Антонина чем-то подкрашивает. Или в такой, или в синий. Гостям говорит, что абсент. Попробуйте.

Абсент оказался крепким хорошим самогоном.

– А где работаете? – поинтересовался Смирнов.

– Танцуем. В ночном клубе, на Бугаёвке. Недавно устроились. Там сегодня мальчишник, я выходной.

– Умеете танцевать?

– В детстве в самодеятельности занимался. Потом сам немножко. А Антонина в хореографическом училась. Она на шесте, и так.

Смирнов вспомнил прямую спину и балетную, носками врозь, походку девицы и, выпятив нижнюю губу, понимающе покивал.

– А вы как? – спросил маклер.

Смирнов поднял брови.

– Ну, вообще... семья, работа...

– Мы разошлись. А так нормально.

– Вы ведь преподаете?

– Пытаюсь.

– Наш клуб «Вуаля» называется. Вы же французский преподаете?

Смирнов кивнул и, взявшись за бутылку, поднял глаза на маклера.

– Пейте, я больше не буду, – сказал тот.

От самогона по всему телу Смирнова разлилась такая щедрая теплота, так хорошо стало и уму, и сердцу, что он решил простить Алексу его долг. Ему только хотелось, чтобы перед тем, как услышать радостную весть, маклер немного понервничал. Хотя бы минуту-другую. Чтобы смог в полной мере ощутить настоящую ценность подарка.

– А ты ведь меня еще в троллейбусе узнал?

– Да. Думал, вы меня не узнали.

– Ну, у тех, кому задолжали, память обычно хорошая. Учти на будущее. А я вот решил, что ты без очков не разглядел.

– У меня теперь линзы.

– Понятно. Не ожидал, что я за тобой прослежу?

Маклер, усмехнувшись, покачал головой.

– А если б заметил, что бы делал, запутывал следы?

Маклер пожал плечами.

Смирнов вздохнул.

– Но это же не выход, – сочувственно произнес он, – еще бы где-нибудь пересеклись. Ты пойми, мне самому эта ситуация не очень. А что делать? Другой на моем месте мог бы обратиться с твоей распиской к кое-каким людям – ну, ты понимаешь, о ком я говорю. Которые решают такие проблемы. Там ведь все твои данные, номер паспорта, прописка. Нашли бы. Да это и сейчас, в общем-то, не поздно...

Смирнов решил сделать здесь паузу. Он взял чайник и долил себе чая. Нужный эффект, кажется, был достигнут: маклер сидел, опустив глаза, и уныло улыбался. Но когда Смирнов поднес чашку к губам, Алекс дотронулся до его свободной ладони и сказал:

– Может быть, мы могли бы как-то уладить?..

Смирнов смотрел на маклера и ждал продолжения.

– Мы могли бы прийти к вам с Антониной. Помогли бы отдохнуть, расслабиться... не один раз, конечно... – предложил тот.

Смирнов некоторое время обдумывал услышанное, а потом хмыкнул от удивления.

– А Антонина что, в твоём полном распоряжении?

– Нет, но... – протянул Алекс, – мы бы с ней договорились. Потом бы рассчитались между собой.

– Ну, с Антониной, допустим, понятно. А ты-то мне зачем?

– Как скажете. Некоторые любят смотреть.

Смирнов вдруг представил общежитие (вид сверху со снятой крышей): китайцы, китайцы, китайцы – снующие по коридору, выбегающие из кухни, моющиеся под душем, баюкающие своих китайчат, набивающие товаром вот такие же, как те, что стоят у шкафа, клетчатые сумки... и там, в дебрях этого шанхая, он, Антонина и маклер в заставленной вещами до потолка комнатушке и так, и эдак пытаются разместиться, чтобы расслабиться и отдохнуть.

– И сколько же это у вас получится визитов? – спросил он.

– Можно посчитать. Если бы еще вы согласились на меньшую сумму... Вы ведь все равно бы получили половину... ну, если б к кому-то обратились.

Смирнов опять хмыкнул. Такой неожиданный поворот, хотя и показался в первую минуту забавным, был ему совсем не по душе.

– Интересная форма оплаты. Да и бухгалтерия. Ну а если я не захочу этого вашего отдыха, тогда как?

– Мы с Антониной всегда все хорошо делаем. Всегда все довольны.

– Очень может быть. Только это не ко мне.

– Вы же не пробовали, вдруг вам подошло бы...

– А может быть все-таки вернемся к деньгам? – с некоторым раздражением произнес Смирнов.

– Я сейчас, – сказал маклер и вышел в соседнюю комнату.

Смирнова даже зло взяло: только что он собирался простить приличный денежный долг, а теперь все сводилось к отказу от любовных утех. С ума сойти.

В соседней комнате негромко зазвучала музыка, что-то стукнуло, потом стукнуло еще раз, и маклер вернулся.

– Вот, посмотрите, – сказал он, усаживаясь, вытягивая из желтого конверта стопку фотографий.

На них была Антонина, ее гибкое тело. На некоторых она позировала в затейливом белье, на всех остальных – обнаженной; на самых откровенных прикрывалась выгну-

той ладонью. Узнав её на первом же снимке, Смирнов качнулся было вернуть стопку маклеру, но потом глянул второй, третий, и уже не смог оторваться, пока не пересмотрел все, зайдя даже на второй круг. В самих по себе фото не было ничего особенного, да и женщины спортивного типа Смирнова никогда не привлекали. Кровь разгоняло то обстоятельство, что на снимках предлагала себя та строгая, наглухо застегнутая особа, которая еще полчаса назад едва не выставила его на кухню. Вот эта легкость, с какой *та* Антонина могла бы превратиться в *эту*, более всего его и взволновала. Он глубоко, прерывисто вздохнул, обнаружив тем самым, как ему показалось, некоторое смятение от просмотра, и с досадой игрока, перебравшего карту, положил фотографии на стол.

Отпив чаю, сказал:

– И что? Я ведь вроде бы и так понял, о чем речь.

Маклер сидел, опустив голову, подбивая ладонями стопку.

– Может, кто-то из ваших знакомых?.. – спросил он.

– В каком смысле?

– Ну, если бы кто-то захотел, то мы бы могли походить к нему, а он бы отдал деньги вам.

Это уже было... ну, как-то совсем удивительно!

– То есть, я тут должен еще и сутенером подсутиться?

– Нет, почему? – возразил смущенный язвительностью Смирнова маклер. – Вы могли бы просто поспрашивать у своих друзей... многие хотя и знаю, но стесняются. Супружеские пары иногда ищут таких. В смысле другую пару.

– Слушай, ты как вообще это себе представляешь? Звоню я знакомым, да? И спрашиваю... Нет, ты что совсем ненормальный? Или издеваешься?

– Я нет... что вы!.. – испуганно произнес маклер. – Просто такая ситуация. Я не издеваюсь.

– Какая ситуация?

– С деньгами. Я не издеваюсь. Просто пытаюсь найти выход.

– А по-моему, ты издеваешься.

– Нет, что вы! – маклер замотал головой. – Честное слово! Я просто предложил.

– Ах, просто предложил!

Смирнов тяжелым взглядом уставился на маклера. Потом взял фотографии, качнул ими у него перед лицом и... ему вдруг до дрожи захотелось просмотреть их еще раз. Он бросил фотографии на стол, и маклер испуганно прихлопнул их ладонями.

– ...просто предложил, – повторил Смирнов. – Только ты вот почему-то не предложил мне отдавать, например, частями, понемножку. А почему, собственно? Или не попросил: подождите, пожалуйста, когда будет возможность, отдам... Ты мне предложил! Ну, спасибо тебе большое! Только в расписке ничего такого нет. Тебе же вот не пришло тогда в голову со мной как-нибудь по-другому договориться. Ну, например, если я в срок не выведу из квартиры, то должен буду дать тебе на всю сумму уроков, и плевать, нужны они тебе или нет. Как тебе такой расчет?.. Нет, ты тогда деньги потребовал. Чего же ты мне теперь свою натуру предлагаешь?!.. Значит, или топчи меня с Антониной, или вообще ни хрена не получишь – так, что ли?..

Маклер сидел, опустив глаза.

Черт, как глупо все получается, думал Смирнов, ну зачем этот дурак полез со своим предложением? и чего я тянул?

Маклер собрал фотографии в стопку и тихонько постучал ею по столу.

– Я пытаюсь найти выход... – тихо повторил он. – Извините.

Смирнов вздохнул и разлил самогон.

– Ладно, – сказал он примирительно. – Я понимаю, что всё это не от хорошей жизни. Тоже иногда так припрет, что хоть волком вой... Ладно. Всё. Давай выпьем. Я тут вот что подумал...

Дверь открылась, и на пороге появилась Антонина. Смирнов и удивиться не успел, как губы его начали сами складываться в ту известного рода ухмылку, какой он только и мог теперь, после фотографий, ее встретить. Но уже в следующую секунду из-за спины Антонины со словами «А вот и мы!» вышел широкий крепкий парень лет тридцати в коротенькой куртке со стоячим воротником, а следом еще один. Первый, крепыш (хотя ростом он был никак не ниже Смирнова), прошелся по комнате, встал в центре и, покрутив головой, сказал:

– А что? неплохо устроился... Да?

В его чрезмерно темном, не по сезону, загаре и отбеленных крупных зубах было как будто что-то нарочитое, даже карнавальное. Он повернулся к товарищу в низко надвинутой бейсболке. Тот стоял, заложив руки за спину, и на вопрос только пожал плечами.

Стуча каблуками, Антонина с неподвижным лицом подошла к столу, взяла с него фотографии и конверт, положила их в сумку и прошла к себе. Музыка в ее комнате умолкла, и Антонина вернулась. Закрыв на ключ свою дверь, она так же медленно и гордо пошла к входной.

– Спасибо, Тоня, – сказал ей, когда она уже была у порога, загорелый. – Подождите внизу. Мы вас отвезем.

Антонина вышла.

– Привет, Лёха, – обратился загорелый к маклеру, который еще при появлении новых гостей встал и все это время стоял спиной к Смирнову. – Чего ты вскочил? Садись.

Он подошел к столику и хлопнул маклера по плечу. Маклер сел.

Загорелый вытряхнул из рукава куртки часы и стал крутить их на запястье.

– Что ж ты, Лёха, а? Середина весны почти. Сакура уже, блядь, скоро зацветет... А ты как сквозь землю провалился.

– Мока, я со старой квартиры съехал, – ответил маклер.

– Что ты говоришь? А почему? Что-то случилось? А это кто? – Мока вдруг показал на Смирнова.

– Дядя мой. Из Арциза.

Смирнов не поверил своим ушам и предположил, что это часть какой-то затейной Мокой игры, которую маклер решил поддержать.

– Родной дядя? – спросил Мока.

– Да, – подтвердил маклер, уставившись в Смирнова умоляющим взглядом.

– Здравствуйте, дядя, – Мока протянул Смирнову почти черную руку. – Так что же там с квартирой? – снова обратился он к маклеру, продолжив крутить часы на запястье.

– С хозяйкой поссорился...

– А хозяйка молодая или старая?

– Молодая. Ты ее видел...

– Видел, да? Не помню. А может она к тебе клинья подбивала, а ты не вкурил?

– Да нет вроде...

– Да точно! Я тебе говорю. Ты ее просто не понял. Ну ничего, зато у тебя теперь Тоня под боком. Как она? Ничего?

– Нормально. Я, Мока, не пропал, честно, так получилось. Я хотел... ну, в смысле, думал...

– Сейчас, – Мока хлопнул маклера по плечу, – сиди, я сигарету возьму.

У дверей он вплотную подошел к своему приятелю и что-то шепнул ему на ухо.

Смирнов перевел взгляд на маклера, и тот опустил глаза.

Мока прикурил от зажигалки приятеля, вернулся к столу и, размахнувшись невесть откуда взявшейся у него в руке короткой дубинкой, ударил маклера по низу спины. Не издав ни звука, с проворством животного, которое, почувствовав удар, без оглядки бросается наутек, маклер метнулся в дальний угол комнаты и только оттуда испуганно уставился на Моку. Смирнов сам не заметил, как поднялся с диванчика. Мока положил сигарету в пепельницу, развернулся и направился к маклеру. Тот подпустил его на некоторое расстояние и перебежал к шкафу. Потом к двери в комнату Антонины. Входя в азарт, Мока двигался все быстрее и быстрее. Смирнов, попятившись, прижался лопатками к стене. И не зря, поскольку запаниковавший маклер стал метаться по комнате, не разбирая дороги, перепрыгивая через столик и запрыгивая на диван. Все закончилось подножкой стоявшего на дверях приятеля. В ту же секунду налетевший Мока ухватил упавшего ничком маклера за воротник и, прижимая к полу коленом, стал бить его дубинкой по ягодицам.

– Мока, всё! Я сейчас, Мока! Не надо! – закричал маклер, дергаясь под ударами. – Они в шкафу! Я отдам!

Мока отпустил его и выпрямился. Маклер поднялся и, постояв, пошел к шкафу. Из шкафа, откуда-то сверху он достал черную обувную коробку, снял с нее крышку, но тут же вынужден был отдать ее подошедшему Моке. Тот выбросил из коробки сначала ношеную пару туфель, потом сложенную вчетверо газету, а потом бросил на пол и саму коробку, и в руках у него остались долларовые купюры. Он неторопливо пересчитал их и сложил пополам.

– Мока, а ты правильно посчитал?.. – осторожно спросил маклер. – Там больше...

Мока, задумчиво глядя на маклера, затолкал деньги в карман джинсов.

– С тебя еще четыре сотни. Жду до конца месяца, – сказал он. – Это тебе за твои прыжки в неизвестность. Пошли, – он кивнул приятелю, и они вышли.

Маклер поднял туфли, коробку с крышкой и все это, не складывая, бросил в шкаф. Закрыв дверь, он некоторое время стоял, прижавшись к ней лбом, толкаясь в нее коленом и, шмыгая носом, что-то шептал.

– Лёха! Эй! – донеслось со двора. – Лёха! Палку кинь! – раздался смех. – Лёха!..

Маклер подошел к окну.

– Там аргумент на столе, кидай сюда!

Маклер взял со столика забытую Мокой дубинку и выбросил ее через форточку во двор. Потом лег на диванчик и уткнулся лицом в спинку.

Смирнов вышел.

Шум и движение улицы вызвали ощущение, близкое тому, что он испытывал обычно при выходе из кинотеатра, возвращаясь в обновившийся за пару часов его отсутствия и как будто уже ставший немного чужим мир. Поднимаясь в рассеянной задумчивости по Дерибасовской, он с удивлением обнаружил, что вечер в самом разгаре и все пространство мостовой заполнено гуляющими; не доходя до городского сада, свернул на Гаванную, потом в Малый переулок; там спустился в подвал.

Взяв водки, Смирнов уселся в дальнем углу. В небольшом помещении кроме него и средних лет барменши, бегавшей пальцем по калькулятору, не было ни души; над стойкой под потолком без звука работал телевизор. Он выпил в одно касание свои сто пятьдесят и закурил. А все-таки вовремя принесло этого бандита... До Смирнова только теперь дошло, что его намерение простить долг могло закончиться тем же конфузом, каким бы наверняка закончилось требование денег – желанием маклера получить в подтверждение расписку. Пришлось бы как-то выкручиваться. Совсем он упустил этот момент. Так что, спасибо Моке! Смирнова вдруг охватило радостное предчувствие, как-то связанное с событиями сегодняшнего вечера. Так и пахнуло в лицо долгожданной

большой удачей. Докурив, он взял еще водки. Денег оставалось в обрез, но ему сейчас было не до подсчетов.

В подвал спустилась и остановилась на пороге крупная хмельная девица, одетая, не смотря на славянское лицо и прямые русые волосы, вполне по-цыгански: мужская куртка, цветастая до пят юбка и серый пуховый платок на плечах. Улыбаясь, строя глазки, она направилась прямо к Смирнову, и только тогда была замечена барменшей. «Так, Люся, быстро на выход! – громко приказала та и хлопнула по стойке ладонью. – Быстро!» Послушно остановившись, девица обеими руками медленно приподняла юбку, из-под которой показались заляпанные грязью сапоги, и плавно, из стороны в сторону, поводила ею перед Смирновым. Потом развернулась и, томно выглянув из-за плеча, подмигнув, пошла, широко качая бедрами, к выходу.

Это было как приглашение в новую жизнь. Смирнов сидел с остановившейся ответной улыбкой, крепко обхватив ладонью левое запястье. «Крутящий момент», – шептал он и, опустив лицо, тихо засмеялся. Вот оно. Крутящий момент. Выпьем!

В передачах про автомобили, на которые он иногда наткнулся, мучая по вечерам в общежитии пульт миниатюрного телевизора, часто мелькал этот загадочный для него, никогда не имевшего машины, термин. В памяти был целый чулан таких неопознанных привязчивых словечек, которые не то, чтобы сильно докучали, но всегда выскакивали не к месту и как раз тогда, когда не было никакой возможности выяснить их значение. И вот сейчас, когда он смотрел на уходящую девицу, а мыслями опять был в комнате маклера, по которой вышагивал Мока, неприкаянное словосочетание вдруг плотно, как родное, легло на движение, которым тот крутил часы вокруг черного от загара запястья. И опять, опустив голову, Смирнов тихо рассмеялся. Буквально вчера, роясь в коробке с инструментом, он обнаружил пыльные, обшарпанные, однажды остановившиеся у половины восьмого «Командирские». Случайное совпадение? Ну-ну. Вот даже и время назначено. Отлично. Завтра он войдет и сразу перейдет к делу: пройдет из угла в угол, обратно. Или от стены к стене. Потом еще раз. И еще. Столько раз, сколько сочтет нужным. Конечно, что-то при этом надо будет говорить. Ну, тут и думать нечего: как только он тряхнет кистью и пальцы лягут на металлический браслет, давно заготовленные, десятки раз повторенные слова польются сами собой. Хотя это как раз и не важно. Он и говорить-то будет негромко, вполголоса, словно рассуждая вслух. А всё, что им – и его дорогой супруге, и этому, кто он ей там? – надо будет уяснить, они услышат в интонациях, увидят в жестах и движениях, которые окажутся убедительней любых аргументов.

Вскинув голову, Смирнов обвел взглядом подвал. Надо только не растратить, сохранить, во что бы то ни стало, эту решимость. И когда ладонь в очередной раз потянулась к запястью, он одернул ее, встал и пошел к выходу. Почти одолев лестницу, вернулся и выпил еще сто грамм.

...Моросил дождь. На малолюдной остановке, стоя в сторонке, Смирнов несколько раз поднимал к лицу указательный палец. «Завтра, в девятнадцать тридцать», – шептал он и, оскалившись, нажимал кнопку воображаемого звонка: «Цзынннн!..» Так, ни разу не коснувшись запястья, он продержался до прихода трамвая и, сидя у окна в полупустом вагоне, держался еще какое-то время, пока, засыпая, не ткнулся лбом в холодное стекло.

Софья СЕРЕБРЯКОВА

ИЗ ЦИКЛА «АЗЫ»

(говорящее море детская память и страх
настоящее время в детских его руках

надлежащее в горе редкое в сыпи дней
предстоящее слово в рокоте голубей)

говорящего моря твердыня и зыбкий берег
настоящего времени помнят, что был человек
присягнувший младенчеству, зрелости, старости и
низвергавшийся в лепет с самой родной земли
как входил сей ребёнок в пенный его чертог
как немела душа и голубел висок
размыкалось о ма-ми, смыкалось о где-мой-дом
о литания лалии, лепетание об одном
на одном, на нездешнем, невысказанном, всем чужом
словно капсула у незнакомца под языком
этот собственный голос, услышанный там, куда
ты явился не вовремя и на беду навсегда

I.

мне десять лет, я утонул на спас
ещё темно, ещё смиренен класс
и молодой учитель тихо дремлет
и видит бог, он созерцает земли
не видя нас

мне десять лет и вечность
и я сын возлюбленный столовых
и гардин поверенный, и чердака посол
в краях, где трепет и безрыбный сон
один у льдин
я вызываю память из-под век

Софья Серебрякова родилась в 1987 году в Ставрополе, живет в С-Петербурге. Училась на философском факультете ОГУ, сейчас – на факультете свободных искусств и наук СПбГУ. Печаталась в альманахе «45-я параллель».

я великан, я пёс (я человек)
я муравей
ещё немного света, и все увидят, как одна комета
застряла между рёбер у меня
и ждёт меня, хотя меня не знает
(рука чужая окна закрывает)
в голубоватое стекло мы стукнем лбами
а те из нас, о ком усердней горевали на небесах
пройдут стекло насквозь
(те двое рядом, остальные врозь)

в моей груди незримо зреет что-то
оно не больше семечка аниса
но тяжелее камня

за окном метнулась суекрылая синица
в небесный дом

2.

чей это класс, кто мой Инициал
я слышу, что душа есть интервал
межбуквенный в письме ученика
и пропись от соседа укрываю
что понимает загорелая рука
упрямая, сокровище сжимаю:
не мотылька, но след от мотылька
– молчит, не знает
так вечно за собой не поспеваю
с тех пор как именами называю
весь божий скарб

о маятник, о дерево, о кот пушок
и тонкий луч, и жёлтый ремешок
вселенную вместившего футляра
вы были здесь, но вас мне было мало:
я одолел пробел, но вот провал:
я вас любил, теперь я вас назвал

3.

заворку памяти от чистого листа:
к себе я так и не привык
я всем беглец и сам себя снаружи
я двери слог закрыл не на защёлку
чтоб только времени унялся тик
сустав не щёлкал

но быть один – такая тишина
такой урок мне вовсе не давали
и если, жизнь моя, и ты теперь одна

то в нужный час дождись
не уходи
толкни мой ялик

то внук твой, Антонина, век твой побежал
у самой двери хвост мелькнул горящий

по свету бродит допотопный ящер
на тот же свет и снег идёт дитя, чей
с лучом скрещается пластмассовый кинжал

но кто же выпустил? – беги, мой жук, лети –
шаги топорщат ленту коридора
нет воли, где дыханье валидола
где спит любовь на кончиках иголок
а старость колобродит до шести

спросить с меня, кто был, кто двери открывал?
мне нечего сокрыть, я сам попал в провал
меж створками небесными, как птица
в силке, бессилен и продолговат
что ключ в камнях, я бьюсь в твоей ключице

дитя бежало; вещей дух стал вещным
разъятая семья сгрудилась у стола
я буду отвечать: мне мир как холст расчерчен
я речь возьму как речь меня взяла
в младенчестве безбуквенного горя
у самой горечи его, в его Керчи
я не едал плодов другого моря
с моих Азов меня язык учил

ребёнка нет, и этот пропуск явствен
он больше, горячее беглеца
здесь больше жизни, чем во всех лекарствах
и ласки, чем в ласканье без конца

в зиянье этом, в этой яме, Антонина
я говорю к тебе: раздвинь персты
там мира, моря нет, но дышит мирно
чудовище насущной пустоты
всё ждёт тебя, так правь ковчег без страха
в своё косноязычие спеша
там горячо, там прах прошепчет праху
«я так один» и «где моя душа?»

гроза наполнит воробьями куст
стоишь и смотришь на живых, горячих, мокрых
под душной и цветочной шевелюрой
здесь волос упадёт и будет конь
здесь упадёт перо и будет всадник
всё рушится, послушай, под его
припухлыми ладонями всё словно
необратимо возвращается домой

так много времени прошло, что все младенцы
младенец-мяч, младенец-смерть, младенец-двор
младенец сам, а ты стоишь высокий
и дышишь в воробьиное окно

и кто придёт, и к росту ли постели
себя не мыслишь, оттого ли так велик
к мостку преник, из-под мостка смотрели
глаза как имя рыбок, рыбин, рыб
у кромки языка скопились звуки
и сколько нужно губ им, сколько рук им
чтоб возвратиться в горло как в гнездо
чтобы никем в такое же никто
за чарами невидимой свирели
промокшей пташкой в тёмный куст сирени

**НА БЕЗРЫБЬЕ,
или Принцип неопределенности**

Рассказ

До встречи с моим московским кузеном оставалось добрых полчаса, и, прогуливаясь по набережной, я поддался соблазну и присел за столик местного паба на набережной, за углом от моего коттеджа. Соблазнить меня было несложно: это был первый жаркий и безоблачный день апреля, воспетого Браунингом, когда в Англии расцветают сто цветов и мудрый дрозд высвистывает каждую свою трель дважды, чтобы не дай бог никто не подумал, что он выдал эту арию случайно. Впрочем, цветов на набережной Киля на берегу Ла-Манша, открытого всем нордическим ветрам, видно не было – сплошной камень мостовых, штукатурка фасадов и цветастые вывески пабов. Никакого дрозда тут тоже не услышишь. Обычно на пляже слышны лишь истерические вопли чаек, скандалящих друг с другом из-за продуктов питания – от рыбы в море до объедков, брошенных туристами с борта теплоходов. Однако и они в этот божественный день притихли. Их просто не было.

«Куда исчезли чайки?» – спросил я.

«Улетели к другому берегу. Эмигрировали во Францию. Им осточертела английская диета из фиш-энд-чипс. Они предпочитают круасаны к завтраку», – мрачно сострил бармен Виктор. Был полдень, прибрежный паб был еще пуст, и мы сидели с Виктором за столиком снаружи, устремив свой взор к горизонту, где в ясный день обычно можно разглядеть Дюнкерк на французской стороне Ла-Манша. Но в этот день Франция исчезла из виду вместе с чайками. Виктор, старожил этих мест, в капитанской фуражке и со стаканом гавайского рома, объяснил мне, что на дальнем расстоянии от берега вода не успевает нагреться и поэтому над морем у горизонта туман. «В такую погоду не бывает рыбы», – сказал он авторитетно.

Лет двадцать назад по всей прибрежной полосе и вокруг пирса в Киле стояли рыболовные баркасы, катера и лодки. Европейский союз установил квоту на отлов рыбы, большинство рыбаков переквалифицировалось в маляров и водопроводчиков, а берег опустел – если не считать рыболовов-любителей. Если ежедневная квота превышена, лишнюю рыбу выбрасывают обратно в море. Но эта рыба в воде не оживает. Наглотавшись воздуха (пока ее взвешивают), она уже не способна к полноценному подводному существованию. Так объяснял Виктор. Он склонен к философским обобщениям.

«В такую солнечную погоду рыба уходит к другому берегу, – сказал он. – Поэтому нету и чаек».

«Что в таком случае делает этот рыбак?» – спросил я. Через дорогу напротив, на гальке пляжа, устроился настоящий профессионал рыбной ловли – если судить по оранжевой штормовке,

*Зиновий Зиник родился в Москве в 1945 году. В 1975 эмигрировал в Израиль, с 1976 года живет и работает в Лондоне. Автор двенадцати книг прозы, переведен на ряд европейских языков. В России печатается с конца 80-х годов. Недавние издания: книга на английском языке *History Thieves* («Похитители истории») (Лондон, 2011), сборник эссе «Эмиграция как литературный прием» (М.: НЛО, 2011). Публиковался в журналах «Иностранная литература», «Знамя», «Урал», «НЛО», «Критическая масса» и др. В предыдущем номере «Волги» – статья о прозе Павла Улитина.*

бейсболке с козырьком и сверхсовременным катушкам с леской у трех удочек на триподах перед парусиновом складным креслом.

«Это не рыбак – это Монти», – сказал Виктор. Действительно. Я не узнал в этом рыболовном маскараде разговорчивого соседа. Монти, по мнению Виктора, один из тех, кто всю жизнь стыдится своего безделья (по слухам, он живет на скромные дивиденды с небольшого наследства) и поэтому прикрывает свое ничегонеделание разного вида псевдоактивностью, вроде рыбной ловли. На самом деле он не способен расслабиться даже при полном безрыбье. «Кто-то должен взять на себя трудную задачу – сидеть и ничего не делать. Без всякой причины или морального оправдания. Вроде меня, – говорил Виктор. – Монти на этот подвиг не способен».

Виктору ничего не остается, как совершать единолично подвиг *farniente*, просиживая за барной стойкой. И он пригубил свой ром с кока-колой. В стакане у него звякнул лед. В такой солнечный день можно подумать, что мы сидим где-нибудь на Средиземноморье, а не в одном из небольших меланхолических городков, которые тянутся вдоль побережья Кента. Впрочем, поднимать ко рту стакан с ромом, а потом опускать его, это тоже серьезное занятие. Вроде курения – вдох, выдох, стряхиваешь пепел и так далее. Так что и Виктора нельзя назвать абсолютным бездельником. Кроме того, Виктор коллекционирует истории о чудаках нашего городка, заманивая их, как рыбак на наживку, в свой паб. Периодически он щедро делится со мной своим уловом.

Виктор проинформировал меня: для Монти рыбная ловля – уловка. Он делает вид, что ловит рыбу, но на самом деле думает о покойном Джоне. Джон умер два года назад, и Монти не может его забыть: он был его другом чуть ли не сорок лет. Как тут забудешь, когда у тебя дома перед глазами урна с его прахом на каминной полке. Никто не знает, почему он до сих пор держит эту урну у себя дома. Слава богу, что это не гроб с мумией посреди комнаты, а всего лишь урна из крематория – размером с кубок чемпионата по крикету. Но с другой стороны, глядя на каминную полку с этой урной, как не впасть в депрессию? Рыбная ловля отвлекает.

Тем временем Монти поднялся со своего парусинового кресла на берегу, как будто разбуженный нашими разговорами у него за спиной, и устремил взгляд к туманному горизонту, как будто выискивая там то ли исчезнувших чаек, то ли призрак Джона на другой стороне Ла-Манша в Дюнкерке, где во Вторую мировую произошла легендарная высадка десанта союзников.

«Дело в том, что...» – Виктор явно приступал к новой главе саги о перипетиях с прахом Джона, но я уже подымался из-за столика. Все это можно слушать бесконечно, а мне уже пора было встречать кузена. Я надеялся, что проскользну мимо спины рыболова Монти незамеченным. Сталкиваясь со мной случайно на набережной или в пабе, Монти тут же заводит разговоры об очередных политических катастрофах в России – некий компот из услышанного из газет. Это любопытство можно понять: не так уж много событий происходит в нашей провинции. Но дело было не просто в умственной скуке. В Монти ощущалось какое-то вечное беспокойство, я бы сказал – нездоровое любопытство: апокалиптические события в другой части мира как будто уравновешивали катастрофическое состояние его ума. Краем глаза я видел, как он, вскочив со своего рыболовного трона, стал сосредоточенно кружить вдоль берега, опустив голову, сжав плечи, иногда делал отскок в сторону, нагибался, садился на корточки и снова вскакивал, как будто в иудейском танце в синагоге на празднике Торы или как в игре в жмурки. Иногда он резко останавливался, вздымал руку к солнцу и шурился на свой кулак. Я свернул с набережной в переулок. Но у Монти были явно глаза на затылке:

«Ahoу there!» – услышал я ритуальное приветствие морских волков, капитанов, обветренных как скалы. Он махал мне своей капитанкой с бейсбольным козырьком. Монти было, насколько мне известно, далеко за пятьдесят, однако его пружинистое коренастое тело перемахнуло через барьер, отделявший прибрежную гальку от шоссе, с подростковой ловкостью.

«Ну как улов сегодня?» – спросил я лицемерно. Он скептически отмахнулся. Полез в глубины своей желтой штормовки рыболова и выудил оттуда объект, напоминающий металлическую пуговицу от джинсов. Он сказал, что от нечего делать бродит по берегу вокруг удочек в ожидании

клева и каждый раз отыскивает разные курьезы. Ему все время попадаются монеты. Это была древнеримская монета. (Теперь я разгадал загадку его мистического кружения по пляжу и танцев вприсядку: он выискивал древности среди дуврской гальки.)

В его нумизматических поисках была та же бесцельность, что и в его сиденье за удочками на безрыбье. Точнее, сам процесс поисков был самоцелью, чуть ли не врожденным инстинктом, как у терьера, который начинает разрывать землю, пытаясь добраться до несуществующей норы, как только слышит запах зверька. Он собирал монеты с бескорыстным энтузиазмом человека, пытающегося доискаться до истины. Только неясно, какую истину он пытался раскопать. Монеты попадались почему-то все время древнеримские, император за императором, и Монти не уставал удивляться: «Что тут на Альбионе делали римляне со своими легионами?»

Монти – один из тех англичан, кто, при всей своей любви к родным местам, никогда не понимал, что в его английской окраине может привлечь иностранца? В отличие от строителей империи предыдущих поколений, он не считал ни эту точку земного шара, ни самого себя, упаси боже, пупом земли. В прошлые века он был бы послушным солдатом-наемником британской короны, коммивояжером или простым фермером где-нибудь в африканских колониях. Но империи больше не было. Прошлое стало археологической находкой, музейным экспонатом. Недоумение в связи с любопытством иностранцев к его стране было ни чем иным, как его скептицизмом в отношении себя самого: ему казалось, что никому на свете нет до него дела. В молодости он работал в школе учителем географии, но после загадочного скандала из системы преподавания ушел, увлекся буддизмом, пытался открыть пекарню, прогорел, жил в коммуне с хиппи, подрабатывал на стройке, потом долгие годы был продавцом в местном книжном магазине. При всей его брутальной армейской внешности – с крупными чертами лица, сильным подбородком, ежиком волос с легкой сединой, – его подростковую озабоченность самим собой и неуверенность в себе насквозь выдавали глаза: как будто воспаленные изнутри так, что, казалось, ресницы и брови опалены этим внутренним тлением. Эти глаза не верили, что в них кто-то может заглянуть сочувствующе, и поэтому светились, как маяк, постоянным ожиданием этого встречного взгляда.

«Эпоха Юлиана», – информировал меня Монти с гордостью кладоискателя и музейного архивиста. Мы оба шурились от солнца, разглядывая затертый профиль императора, известного своим прозвищем Отступник. Как всякий коллекционер-любитель, Монти подробно изучал все, что не имеет никакого отношения к его ежедневной жизни. Он всегда сверял свои находки со справочниками и тут же на месте проинформировал меня, что язычник Юлиан отменил в Риме христианство и реабилитировал олимпийских богов. Я понял, к чему Монти клонит.

От Виктора я наслушался об истории религиозной полемики между Монти и покойным Джоном. Джон, в отличие от Монти, был воинствующим атеистом. Если ты атеист и не веришь в загробную жизнь, какая тебе разница, где будет захоронен твой прах и что вообще будет с твоим телом после смерти? Этот вопрос давно мучил Монти. Мучил, в первую очередь, с практической точки зрения. На кладбище при церкви Св. Георгия на главной улице Килья есть могила всего семейства и родственников Джона Дана. Очень удобно. Умер за углом, тут же похоронили, помянули и выпили в соседнем пабе. Но Джону вздумалось быть кремированным. Это был его последний антиклерикальный жест, что довольно странно, поскольку с религиозной точки зрения тело может воскреснуть даже из праха – по крупинкам, из молекул, так сказать. А значит, он хотел преподать урок атеизма не церкви, а лично Монти. И этот урок чуть не довел Монти до банкротства и инфаркта.

Дело в том, что в прибрежном городке Киль крематория нет. Нет крематория и ближайшем Дувре. Крематорий есть только за тридевять земель в Кентербери, где заседает англиканский архиепископ. И вот в этот оплот клерикализма и пришлось тащиться Монти с гробом своего любимого воинствующего атеиста. А знаете, сколько стоит катафалк от Килья до Кентербери? Эта кентерберийская история с кремацией влетела Монти в копеечку. И еще неизвестно, чем закончится: урну надо где-то захоронить, чтобы не маячила перед глазами на каминной полке. Во вре-

мя кремации было исполнено посмертное желание Джона-атеиста: гроб отправился в крематорную печь не под траурный марш Шопена, а под песню Элвиса Пресли «Return to Sender: Address Unkown». Адрес Бога действительно никому неизвестен, даже верующим.

«Говорят, в России возрождается христианство?» – спросил меня Монти с надеждой, как спрашивают адрес в справочном бюро. Я насторожился и стал прощаться: надо было всеми силами избежать разговора о покойном Джоне и его атеизме. Я пробормотал насчет своего агностицизма и неосведомленности в делах Русской православной церкви. «Я слышал, к вам прибывает кузен из России?» – не отставал он.

Откуда он об этом слышал? Я вроде бы об этом никому не сообщал – кроме Виктора, конечно. Слухи распространяются с такой же скоростью в нашей местности, с какой древние римляне захватили Альбион, убивая друидов и разбрасывая по дороге монеты (эти дороги они строили сами). Я понял, что мне эта римская монета напоминает: телефонный жетон советской эпохи.

«Ваш кузен не нумизмат, случайно? За эти годы мне ни разу не попалась русская монета!» – сетовал на судьбу Монти. Сплошной Древний Рим. В то время как ему хотелось найти что-нибудь древнерусское. Редкие древнерусские туристы на Альбионе не привыкли, видимо, сорить деньгами. В который раз Монти поведал о своем страстном желании побывать в России. И добавил все то, что в таких случаях обычно говорят британцы: нечто пафосное про жертвенную роль России во Второй мировой войне, про горнило истории и бремя страстей человеческих. Я представил себе Монти в Москве, с рыболовными удочками или без таковых, и как его, без знания русского, ловят на крючок разные Настасьи Филипповны, сжигающие иностранную валюту пачками.

Мой кузен был заведомо не нумизмат, о чем я и сообщил Монти, распрощавшись, и двинулся навстречу с родственником. Даже если бы он и коллекционировал монеты, то заведомо не российские. Боюсь, что мой Саша совершенно не годился и на роль гида в Москве. И не только потому, что был робок в общении. Саша ненавидел Россию изошренно, художественно, во всех ее многообразных проявлениях. Саша был трогательной и поэтической натурой. Худой, как мыслящий тростник, он затягивался в пиджачки и джинсы на размер меньше, а его крашенные волосы – соломенные и торчком, под панка – делали его похожим на одуванчик. Он содрогался от каждого проявления грубости, жестокости, беспардонности, наглости и уголовщины. Все эти качества он отождествлял с ежедневной жизнью в Москве. Его отвращало не только население, продукты питания, но и климат. Климат был выражением российского хамства, рабской сущности нации и свидетельством вопиющего измывательства российских властей над человеческим достоинством. За день до приезда Саши в Лондон я расписал ему божественный апрель в Англии этого года и в ответ получил детальный отчет о склизкой мгле у него за окном, где уже которую неделю не переставая падает мокрый снег.

«Каждую снежинку я бы лично расстрелял из револьвера», – сообщил он мне конфиденциально. При любой погоде он ходил в английских бусах на кожаных, довольно высоких каблуках – казалось, опустишь, и он переломится пополам. На этих каблуках каждый проход по улице зимой по ледяным колдобинам асфальта (он подрабатывал редактурой в научно-популярном сайте) был физической пыткой и напоминал или балет Большого театра, или наказание шпицрутенами, когда тебя прогоняют через строй московской уличной толкучки. О Лондоне он мечтал с неистовой одержимостью, как иудей о Земле обетованной. Но при этом откладывал свой первый визит, как будто боясь разрушить собственные иллюзии. Недавно, однако, в результате длительной заочной переписки на сайте встреч и знакомств с одной резиденткой британской столицы, он, наконец, решился, купил билет и получил визу. Любовные неурядицы Саши обсуждались непрерывно всеми родственниками. Подозревали, что Саша в свои двадцать с лишним лет – все еще девственник. С девушками Саше, действительно, не везет. То есть, он постоянно влюбляется. Но не в тех, кто готов ответить ему взаимностью. Так или иначе, объект его обожания об этом совершенно не догадывается: Саша не делает ничего, чтобы заявить о своих чувствах. В больших компаниях или даже у друзей он обычно сидит в углу и отмалчивается. На редкий флирт, из-за

своей стеснительности, отвечает односложно. Саше нравятся девушки, похожие на иллюстрации к детским книжкам позапрошлого века, вроде эльфов неопределенного пола – образ, не слишком чуждый порнографическим журналам для гей-герлз. И действительно, у него на глазах такой андрогинный цветочек обычно подхватывала какая-нибудь дама-бутч со стрижкой ежиком, пока Саша вздыхал на расстоянии.

Зная за собой эту порочную нерешительность, он готовился к лондонскому свиданию с тщательностью джихадиста перед самоубийством. Все на нем было *комильфо* – согласно тому образу модного лондонского мальчика-денди в умах тех, кто шляется из одного московского клуба-андерграунда до другого. Рубашка без воротничка, жилетка, сверху кардиган, из-под пятницы суббота, а джинсы, узкие как спички, закачивались остроносными туфлями испанского идадьго. Устроив его в своей лондонской квартире, я соблазнился солнечной погодой и отбыл на побережье в Киль, лишь предупредив его, что погода в Англии меняется так же быстро, как идеологические увлечения прогрессивной британской интеллигенции. И посоветовал ему не забыть зонтик, отправляясь на свидание. Но Саше было не до зонтика. А жаль – я оказался прав: дневная апрельская благодать в тот вечер в Лондоне сменилась на крапывающий дождь с сильным северо-восточным ветром. Когда сутки спустя я увидел его, в плаще-дождевике на фоне пронзительной голубизны солнечного дня, я понял, что эпохальная встреча в Лондоне закончилась проливным дождем по ночам в подушку. Случилось явно что-то катастрофическое. Он ждал меня у выхода с платформы, облаотившись на фонарь. На фонаре сидела чайка – первая, замеченная мной в это утро. Трудно сказать, что эта чайка делала на станции, но Саша явно нуждался в исповеди. Мы зашли в отель «Royal» (мраморная доска у входа извещала вас, что здесь адмирал Нельсон провел ночь с леди Гамильтон; такое впечатление, что нет ни одного прибрежного городка в Англии, где леди Гамильтон не провела бы ночь с адмиралом Нельсоном, кроме тех отелей, где останавливался Оскар Уайльд); он заказал «двойную» водку – без томатного сока и «всяких блядей Мэри».

Интернетные дома свиданий, «лицевые счета» (если мне позволят вольный перевод названия сайта Facebook) и всякие другие «встречные» сайты, созданы для таких скромников, как Саша. Но такие, как Саша, – и главные жертвы этой иллюзорной интимности в ее разоблачительной сверке с реальностью. Его «заочная пассия» в переписке была иронична, немногословна и легкоранима. Эта девушка Софи работала секретаршей в какой-то благотворительной организации помощи африканским беженцам, но судя по фотографии, была явно несколько другого, боевитого, я бы сказал, типа, из тех модных девиц ее поколения, кто поселился в эти годы в Ист-Энде. В этот район, трущобный и пролетарский в прошлом, со знаменитым блошиным рынком и бангладешскими ресторанами на Брик-Лэйн, с конца восьмидесятых двинулись банды артистической богемы – там до сих пор население пестрое, и заброшенные фабричные помещения можно было снять за копейки под мастерские. Но это было давно, и вместе с мастерскими и студиями стали как грибы размножаться кафе и рестораны, обновились курьезные пабы, все эти якобы блошинные рынки стали страшно модными, богатые бездельники и звезды стали скупать недвижимость и выживать богему из ее трущобного гетто. Но хиповые, так сказать, демографические вкрапления остались.

Саша, естественно, про все это наслышался: в Москве знают то, что происходит в Лондоне, лучше самих лондонцев. В его воображении, однако, эта трущобность была какой-то милой, уютной, с бандой обаятельных карманных воришек из диккенсовского «Оливера Твиста», с кроватью Трейси Эмин, художественно замусоренной окурками и использованными презервативами, с порнографическими гей-витражами клоунов-близнецов Гильберта и Джорджа и с ресторанами, где подают фаршированных акул Демьяна Херста. С тех пор в Москве тоже усвоили «пролетарский» шик, сочетание высокого и низкого, с элементами китча, с ботинками Док-Мартын и си-

гаретными закрутками, картинными галереями в бывших гаражах и складских помещениях. Но: одно дело читать об этом феномене по-русски в модных журналах с глянцевыми фотографиями, или закончить с такими персонажами в интернетном *чате*, и другое дело – увидеть этот кусок жизни в оригинале, во всем его первозданном уродстве.

Началась с географических блужданий. Выяснилось, что Софи жила не рядом с модной легендарной Брикс-Лэйн, а в каком-то районе Дальстон («дальний стан» – или «стон» – как тут же окрестил это место в уме Саша), куда можно было добраться лишь с пересадкой на двух автобусах. И Саша, естественно, проехал остановку. Софи сказала ему, что надо пройти мимо рынка, где Саша ожидал увидеть пестроту и спонтанность жизни этого экзотического квартала. Но было уже после шести, и вместо карнавала языков и лиц он оказался в лабиринте без окон и дверей, где фасады были забаррикадированы щитами рифленого железа – этого железного занавеса эпохи классовой войны между имущими и неимущими. После базарного дня мусор, подхваченный ветром, летел во всех направлениях, швыряя в лицо обрывками газет, огрызками и окурками. Саша уклонялся от обстрела, прижимаясь к стенам домов, как будто наглухо заколоченных и необитаемых: он не увидел ни единого освещенного окна или витрины, кроме прачечной-автомата на углу. В отвесах редких фонарей мелькали прохожие таких же колеров, что и их тени: население тут было не столько артистически богемное, сколько иммигрантское – к старожилам туркам и курдам присоединились в последние годы сомалийцы, не считая коренного населения бангладешцев. Весь район действительно выглядел как замусоренная кровать Трейси Эмин. Ее самой видно не было. И Гильберта с Джорджем тоже. Такое было ощущение, что он оказался в животе у акулы Демьяна Херста.

Несмотря на невразумительность инструкций Софи по мобильнику, Саша вышел наконец в поисках указанного адреса к соборовской бетонной башне – близнецу крупноблочных высоток у него на Преображенке. Вход в дом не был освещен, но напротив было какое-то питейное заведение с рекламой из розовых и зеленых неоновых трубок. В отвесах этого неоновой шика Саша нашел панель с номерами квартир, но все его усилия по нажатию кнопки были безрезультатны, пока он не заметил, что панель с кнопками вырвана из стены вместе с паутиной электропроводки. Домофон, впрочем, существовал лишь символически: дверь в подъезд не запиралась – замок был сломан. Он поднялся на седьмой этаж, натываясь в темноте на заплывающие стены (он не мог найти на ощупь кнопку – впрочем, лампочка, скорей всего, тоже была разбита), и постучал в нужную дверь.

Дверь открыл молодой человек странной наружности – в шортах-бермудах, то есть цветастых, ниже колена, и при этом в распахнутом халате с голой волосатой грудью. Он был явно нетрезв. «Got a fag?» – спросил он Сашу, почесывая небритый подбородок. Саша не понял. (Ему послышалось fuck – со словом fag он был незнаком.) Джентльмен затаился невидимой сигаретой, скрестив два пальца перед носом у Саши. Саша не курил и сообщил об этом. «Shit», – сказал молодой человек и направился в другую комнату – оттуда резануло психоделической музыкой и не менее дикими пьяными воплями. На мерцающем экране телевизора в общей комнате мелькала реклама двсянки. В этом момент из еще одной двери и вышла его интернетная пассия.

Саша попытался описать ее мне довольно подробно, но тут достаточно упомянуть вязаную шапочку с тесемками и военизированные штаны с кармашками ниже колен, чтобы догадаться о ее вегетарианстве, пацифизме и крестовом походе против глобального потепления. Ее комната без окна была похожа по размерам на стенной шкаф. Там, где полагалось быть окну, на стене красовался фотомонтаж: из трех фабричных труб исходили облака дыма в виде джунглей реки Амазонки, тающих айсбергов и японских китов. Полкомнаты занимал ее велосипед. Он стоял перед постелью – как джин, охраняющий невидимую спящую красавицу. Впрочем, велосипед служил еще и бельевой веревкой: на раме было развешено для просушки ее нижнее белье. Софи спросила, не хочет ли он что-нибудь выпить. Она предложила ему на выбор ромашковый чай или воду из-под крана с лимоном.

«Может, выйдем куда-нибудь в кафе?» – предложил Саша. Софи подумала и сказала, что да, рядом на углу есть очень симпатичное «органическое» кафе. Она почему-то взяла с собой велосипед, причем велосипед этот двигался между ними, как передвижной полицейский барьер. Пару раз Саша поскользнулся на какой-то гнилой шкурке – его туфли на высоких каблуках были столь же неуместны тут, как и на обледенелых московских тротуарах. Вход в кафе был забаррикадирован строем переполненных помойных баков, откуда, как будто в поисках политического убежища, тянулся по всему тротуару мусор. На кафе висела табличка «закрыто». Софи сказала, что Саша должен обязательно посетить это кафе, когда оно будет открыто, потому что здесь все совершенно натуральное, без химических примесей, и тут лучшая в городе вегетарианская *самоза*. Саша не понял, что такое *самоза*, но почувствовал, что страшно голоден. За углом сияла, как маяк, одинокая витрина турецкой кебабной. Саша с облегчением почувствовал себя в знакомой атмосфере восточной забегаловки. Официант, не здороваясь, разложил перед ним приборы и меню.

«У вас есть вегетарианский шашлык?» – вежливо спросила его Софи. Официант-турок со сталинскими усами долго и молчаливо тарачил на нее глаза. Потом убрал приборы и повернулся к ним спиной. Они снова оказались на улице. Саша попробовал взять Софи за руку, но их разделяла велосипедная рама. Софи объяснила, что у нее уже три раза воровали велосипед и поэтому она теперь с велосипедом не расстается. «Интересно, что она делает с ним в кровати?» – подумал Саша и решил купить бутылку виски в магазине с фасадом из рифленого железа и тюремной решеткой: деньги надо было переправлять сквозь стальную форточку-задвижку.

Обратно к себе в шкаф Софи не приглашала. Она пошла его провожать на автобусную остановку. В ожидании автобуса они присели на мокрую лавочку под фонарем. Саша стал прихлебывать виски прямо из бутылки и молчал, глядя на театральную афишу у входа в помещение напротив, напоминающее гараж. Софи объяснила, что это местный районный театр, где прогрессивный турецкий режиссер ставит пьесы белорусских драматургов-диссидентов. Упоминание этого театра и стало причиной окончательного скандала между ними. Саша стал рассуждать про пьесу «Копенгаген». Перевод этой драмы про визит Гейзенберга из Германии к Нильсу Бору в Копенгаген шел в эти дни с аншлагом в Москве. Софи никогда про эту пьесу не слышала. Я сам пропустил в свое время лондонскую премьеру и разговоры вокруг этой пьесы давно утикли. Насколько я помню, в этой истории про встречу Бора и Гейзенберга никому достоверно не известно, когда, где конкретно и сколько раз они встречались. Известно лишь, что речь шла о создании атомной бомбы, и кому до какой степени секрет ее производства известен в нацистской Германии.

«Представляешь?» – восклицал Саша. – Да чего там пьеса! Она про принцип неопределенности Гейзенберга никогда не слышала!» У меня у самого лично были довольно смутные представления об этом самом принципе. Саша тут же стал втолковывать мне, как процесс наблюдения меняет сущность объекта. И что ты не можешь одновременно знать и местоположение объекта и интенции его движения. Потому что объект может быть частицей, а может быть волной (морской волной? что бы это ни значило!), то есть может существовать и не существовать одновременно, в зависимости от того, кто и как этот объект наблюдает.

Я, скорее, наблюдал и слушал Сашу, чем следил за его – ускользавшей от меня – логикой. Меня восхищал его энтузиазм. Я чувствовал, что дело тут не в самом принципе и не в Гейзенберге, а в том факте, что эта идея вошла сейчас в оборот в его московских кругах. Как говорил Тургенев (в романе «Дым»): наши мыслители подцепят в Париже старую туфлю, свалившуюся с ноги какого-нибудь Фурье, напялят ее себе на голову и носятся с ней по московским салонам. И действительно: как, скажите, такой амбивалентной идее, как принцип неопределенности, не стать популярной в России, где обожают подростковые спекуляции об иллюзорности мира, об обманчивой и двойственной сущности реальности, о конспирации и заговорах, о том, что нашей жизнью манипулируют невидимые силы, которые за тобой постоянно наблюдают (если за тобой наблюдают – значит ты существуешь).

Софи из Дальстона об всем об этом совершенно не подозревала. У Саши возникло впечатление, что Софи не имела понятия даже о том, что такое расщепление атома. Возможно, она никогда не слышала – о, ужас! – про теорию относительности Эйнштейна. Саша был в шоке. Они не поругались явно, но между ними возникла атмосфера недоброжелательности и глубокого взаимного непонимания, сказал Саша (особенно в виду того, что он выхлестал к тому моменту полбутылки виски натошак). Софи долго отмалчивалась, выслушивая упреки насчет принципа неопределенности, а потом спросила Сашу, знает ли он, что такое *зыкр*?

«Знаешь ли ты, что такое *зыкр*?» – спросил меня Саша. Саша произнес это слово именно так, с буквой «ы». По дороге домой после свидания с Софи, на втором этаже красного автобуса, Саша сверился с интернетом по мобильнику и выяснил, что *зыкр* – это молитва-повтор, своего рода благодарение Богу, Аллаху, вроде мантры, но в учении суфи. Софи была не настолько глупа, как показалось Саше. Совершенно ясно, что Саша столкнулся вовсе не с полуграмотной дурой, а с очередным персонажем спектакля альтернативной жизни в гигантской метрополии.

Мы все читали про нищую богему и мансарды Парижа двадцатых годов. Так вот, Саша увидел нынешний лондонский вариант этой божемной жизни и почему-то ужаснулся. Я пытался объяснить Саше, кем оказалась его интернетная корреспондентка, явно диссидентка из приличной семьи. Про культ велосипеда и ромашкового чая, антиглобализм и манеру немногословности, когда вегетарианство и пацифизм – это еще и символика бунтарства против системы, против родителей и правительства, против агрессивной толпы мясоедов и милитаристов, против элитарности в образовании. Она хотела сказать: да, я никогда не слышала про принцип неопределенности Гейзенберга; но ты ничего не знаешь про учение суфи и мистику Ислама (от Дальстона до Стамбула – один шаг: тут на каждом углу исламские мистики). Безграмотность в вопросах ядерной физики или римской истории не означает, что человек не знаком с листом Мебиуса. Или с Чеховым. Или с учением суфи. Каждый учит то, что хочет.

По ходу моих объяснений лицо Саши все больше мрачнело. Он сказал, что я подтвердил его худшие подозрения о его собственном идиотизме. Его заклинило, и он явно все испортил своими спорами про принцип неопределенности. Он понял, что заехал не туда со своим вектором и импульсом в поведении с ней в тот вечер, и уже натуро попытался назначить еще одно свидание, но было уже поздно. В ответ на его «текст» он получил сообщение: Софи чувствовала, что явно не понравилась Саше, что разговора у них никогда не получится, отношения не сложатся, и поэтому она решила вернуться к своему прежнему партнеру, психоделическому музыканту, с которым она рассталась год назад. Тем более, далеко ходить не надо – он жил в соседней комнате, они давно делят квартиру. Это был тот самый небритый тип в бермудских трусах, который попросил у него сигарету.

В глазах у Саши стояли слезы. Он был безутешен.

«Блин, это значит, мне надо валить обратно».

«Куда?» – я подумал было, что он решил вернуться в Лондон.

«Куда-куда? В Россию! – надежда на переселение в Дальстон в дальней перспективе явно грохнулась. – Не могу. Мне в России страшно».

«Отчего?» – Саша был не первым и не последним, кто говорил мне про этот российский страх.

«От всего страшно, – сказал Саша. – Если ты, идя по улице города, не знаешь, что страшней – прыгнет на тебя бандит или подойдет к тебе мент, то ощущение постоянно такое: ты точно знаешь, что ты жив, ты есть, ты здесь, но одновременно ощущаешь, что тебя здесь нет».

«Принцип неопределенности Гейзенберга?»

Саша ничего не ответил. Его дождевик был как будто вакуумным пакетом, в котором он аккуратно законсервировал непогоду с дождем и ветром в своей душе – весь душевный неуют его лондонской встречи. Мы вышли из бара на солнечную улицу, медленно, прогулочным шагом двигаясь в направлении моего коттеджа. По дороге к дому мы прошлишь по рынку, осмотрели пестрые барахолки и комиссионки (Саша тут же приобрел себе антикварную рубашку с кружевны-

ми манжетами и экзотическую соломенную шляпу), заглянули от нечего делать в отдраенный под викторианскую старину музей мореплавания. Городок застыл в пятидесятых годах – в Киле, как во всякой непрезентабельности, было нечто советское. И меланхоличность этой ностальгии по пятидесятым постепенно передавалась Саше – он почувствовал себя тут в своей тарелке, в эпохе, о которой ностальгически вспоминали его родители. Мы переоцениваем уникальность советского убожества. Городок Киль всем своим неброским видом говорил ему, что сердечные неудачи и душевные провалы вовсе не уникальны, той же природы в любую эпоху и в любой части света, с той же частотой рождаемости и смертности, как и у тебя в душе, и поэтому не столь фатальны, как кажется. Лицо Саши, вопреки его собственным внутренним интенциям, векторам и импульсам, стало проясняться. В конце концов он снял плащ.

Мы вышли к пустынному пирсу, обычно облепленному рыбаками. Но в этот день тут красовался один единственный рыбак – гигантских, впрочем, размеров, отлитый из бронзы, позеленевшей от морских ветров и дождей. Это было монструозное произведение местного скульптора послевоенной эпохи. Рыбак боролся с рыбами. Или они овладевали рыбаком? Рыбы тоже были гигантского размера. Одну из них рыбаку удалось оседлать так, что она вырастала у него между ног, свидетельствуя его эротической мощи. Другие рыбины облепляли его со всех сторон так, что трудно было сказать, где в этой скульптурной оргии пролетарского фрейдизма начинается голова одной и заканчивается хвост другой. Я решил не комментировать другие синкретические аспекты символа рыбы, тем более, что Саша с гораздо большим восторгом разглядывал настоящих живых тварей в рыбном магазине в двух шагах от пирса. На развалах льда среди морских водорослей были выложены местные дары моря, не превышающие европейскую квоту по отлову, но – всех видов и размеров, все чешуйчатые и панцирные, головастые и с клешнями, раскрасневшиеся от посмертного стыда. Тут же живая рыба бесстыдно плескалась в жестяном контейнере с морской водой. За углом плескалось само море, где нас, как я опасался, поджидал Монти.

Вся надежда была на то, что он сидит, отвернувшись к прохожим спиной, глубокомысленно уставившись в горизонт или в римскую монету. Не тут-то было. Монти снова вышагивал кругами в своем танцующем поиске античной валюты вдоль прибрежной полосы, но я не без основания подозревал, что он высматривает меня с кузеном на набережной. И действительно, стоило нам показаться из-за угла, как он стал махать руками и своей бейсбольной кепкой.

«Ахой! Сюда, сюда!» – выкрикивал Монти. Мы приблизились. Я представил Сашу. Они пожали друг другу руки. Некоторое время Саша и Монти смотрели друг на друга, не шелохнувшись, в полной тишине (лишь шуршала галька под осторожный всплеск прибоя), как в ковбойских фильмах – в ожидании, кто первый рванет из кабуры с бедра пистолет. Образ Монти в виде усатого заматерелого мексиканского ковбоя-злодея в португее рассмешил меня самого. Я хмыкнул, и Саша, заметив мою усмешку, вдруг покраснел, отвернулся и отошел в сторону, к воде. Он стал кидать гальку в море, но, снова перехватив взгляд Монти на себе, понял, что распугивает рыбу. Я, главным образом чтобы его успокоить, заметил, что с рыбой все равно сегодня дела плохи.

«Кто это вам сказал?» – нахмурился Монти.

«Нет чаек, – сказал я, повторяя рассуждения Виктора. – Значит, нет рыбы».

«Чаек нет, но клев продолжается», – возразил Монти. И он стал рассуждать про приманки и грузила, где и когда какая рыба ловится на блесну, а какая на наживку. Рыба ловится при любой погоде: зависит от того, кто ее ловит и на какой глубине, сказал Монти. В блеске Сашиних глаз читался восторг, когда Монти вручил ему одно из удилищ. Он боялся дотронуться до мистического механизма оснастки. Монти стал инструктировать Сашу, пересыпая свою речь профессиональным жаргоном рыболовов: замелькали катушки, фидеры, вертушки, спиннинг. Он стал де-

монстрировать Саше приемы забрасывания лески с наживкой на дальнейшее расстояние. Из чудака и эксцентрика Монти превратился у нас на глазах в опытного ментора с незаурядной спортивной сноровкой. Его лицо отливало загаром в послеполуденном солнце, седина на висках серебрилась, сильные руки ловко орудовали огромными удочками, когда он стоял в своих резиновых сапогах, расставив ноги, по колено в прибое.

Оставленный без внимания, я начинал серьезно скучать. Саша же глядел на Монти заворожено. Неясно, что его заинтриговало больше – сам Монти или его рыболовные орудия. В этом взгляде было восхищение, любопытство и, одновременно, смелость, выдававшая себя в скрытой улыбке, как будто он наконец догадался, чего он в самом деле хотел. Из-за его сдержанности и стеснительности Сашу часто принимали за надменного чудака, брезгливого и необаятельного. Однако стоит ему раскрыться (это происходит у него с редкими людьми, вроде меня), и нет на свете более обаятельного и отзывчивого существа на свете, чем Саша.

«Клюет! Клюет!» – закричал он, подпрыгивая от радости, как ребенок. И указал Монти на другое удилище рядом на трингоге. Поразительно, как он, новичок в рыбной ловле, умудрился тут же углядеть глазом профессионала, что происходит с поплавком в рыби волн на таком расстоянии. Рыбак рыбака видит издалека. Монти подбежал к удилищу и стал орудовать катушкой, регулируя натяжение лески.

«А ну-ка», – и в воздухе, как отколовшийся кусок солнца, блеснула чешуйчатая добыча. В руках у Монти трепыхалась гигантская рыбина. Он держал ее за жабры, она виляла хвостом подобострастно и разевала рот. «Морской окунь», – сообщил не без гордости Монти и победоносно взглянул на меня. Как этот самый окунь, разевал от удивления рот и Саша: только этот разинутый рот выражал не бессловесное возмущение пойманной врасплох рыбы, а невероятный восторг. Я тоже был поражен таким экземпляром даров моря на полном, казалось бы, безрыбье. (Виктор, с его теориями, был, судя по всему, большой сочинитель.) Через мгновение рыбина плескалась в ведре.

«Давай купим эту рыбу и зажарим ее на ужин», – сказал мне Саша, переходя от возбуждения на русский. Монти улыбался сдержанно, не без гордости. Но, расшифровав намерения Саши, рыбу продавать категорически отказался. Он готов был отдать ее даром. На этот раз отказывался Саша: для него идея покупки рыбы у Монти была как бы жестом восхищения талантом профессионального рыболова. Между ними начался шуточный торг. Монти предложил компромисс: он зажарит рыбу сам и приглашает нас на ужин. А за это – в качестве символической оплаты – Саша подарит ему русскую монету.

Саша в панике стал рыться в карманах пиджака, но, к своему стыду, ничего найти не мог. Он развел беспомощно руками, вывернул один из карманов наружу – в кармане оказалась дырка. Саша стал шарить сквозь эту дырку под подкладкой. Это был странный черный двубортный пиджак – под панка. Где он его откопал? И тут Саша выудил из этих двубортных недр и вытащил на свет свою находку. На ладони у него лежала монетка.

«Советский гривенник!» – сообщил он мне с гордостью, сам как будто удивляясь: откуда взялась советская валюта в панковском пиджаке? Монти взял монету осторожно, как коллекционер, двумя пальцами. Потом достал из внутреннего кармашка миниатюрную лупу и свою римскую монету: он сравнивал их в лучах послеполуденного солнца. Они выглядели совершенно одинаково, но римская монета оказалась, как ни странно, меньше по размеру, чем российская. Может быть, она просто истерлась за столетия.

«Это вам в виде сдачи», – сказал Монти. Он торжественно вложил юлианский «пятак» в ладонь Саши и конфиденциально сжал его пальцы в кулак. Рука Саши задержалась в руке Монти. У одного в кулаке был Древний Рим, у другого – Московия. Эпохально! Заклучив этот обмен национальными символами, не имеющими никакого отношения к личной истории каждого из них (советский гривенник был ностальгичен, скорее, для меня), Саша с энтузиазмом принял предложение отужинать пойманной рыбиной у Монти. Я же уклонился: мне обычно хватало разгово-

ров с Монти на первые полчаса – перспектива целого вечера в его компании внушала мне ужас. Солнце заходило. Становилось зябко. Сославшись на усталость, я вернулся домой к сэндвичу с холодной говядиной и стакану виски «Famous Grouse» перед телевизором.

Саша вернулся лишь под утро. Он разбудил меня часов в шесть, в тот час, когда нас посещают сны, где прокручиваются в сюрреалистской версии события прошедшего дня. Пока я, кутаясь в халат, заваривал себе чай, Саша плескался под душем. Он вышел из ванны, обтираясь полотенцем. Я отметил про себя, как изменилась неожиданно его внешность. Обычно робкий и неловкий, он кружил сейчас в четком свинге боксера на ринге. Или я давно не видел его тела: затянутый в свои курточки и узкие джинсы, он казался тонким, как тростник. Выяснилось, что у него сильное тело – крепкие плечи, мускулистые ноги чуть ли не римского дискобола.

«Всё решено».

«Всё?»

«Мы едем в Россию», – сказал он, плюхаясь в кресло.

«Кто – мы?»

«Я и Монти. Монти назначил меня своим гидом».

«И по какому маршруту? Россия страна большая».

«Сначала в Москву. А оттуда пешком в Мурманск».

«Пешком? В Мурманск? – я несколько опешил. – И в чем же цель вашего паломничества в эти святые места?»

«Джон завещал Монти развеять его прах в порту Мурманска», – сказал Саша, и в голосе его прозвучал вызов – непонятно, правда, кому и чему. Видимо, собственному чувству реальности: было нечто запредельное в сопоставлении двух имен – Монти и Мурманска. Однако завещание Джона, как оказалось, было вовсе не макабрической шуткой. Монти можно было лишь почувствовать. Мало того, что этот атеист Джон посмертно довел его чуть ли не до инфаркта перевозкой трупа из Киля в Кентербери на кремацию. Теперь выясняется, что урну с прахом надо экспортировать за бывший железный занавес. Об этом даже Виктор не подозревал. Я представил себе Сашу в качестве проводника-партизана, пробирающегося через города и веси, леса и болота России к Мурманску с урной Джона – священным Сосудом Каббалы, Чашей Грааля, Олимпийским Кубком его атеистической души. Теперь я понимаю, почему Монти, сталкиваясь со мной на улице, хватает меня за пуговицу, так сказать, и начинает рассуждать о России. Может быть, Джон был не только атеистом, но еще и коммунистом, и посмертно стремился на свою идеологическую родину?

Я и тут ошибался.

«Дюнкерк», – сказал ему Монти, указывая на горизонт, когда я оставил их вчера вдвоем на пляже. На какой Дюнкерк указывал Монти, мне трудно сказать, поскольку в этот день французский берег, как я уже говорил, был скрыт в тумане. Вполне возможно, вместе с моим уходом со сцены развеялся и туман над морем. Саша утверждал, что никого тумана вообще не было, и я с ним не стал спорить. Так или иначе, Саша с Монти стояли на берегу, смотря на горизонт, как Герцен с Огаревым на Воробьевых горах. Чуть позже – о клятве, которую они дали другу, но без темы жертвенности не обошлось с самого начала. Прежде всего Монти поведал Саше трагическую историю о высадке британских войск в Дюнкерке во Вторую мировую войну. Этот эпизод должен был подействовать на воображение Саши. Вполне сознательный взрослый юноша, он с подростковой одержимостью сочувствовал всем великим неудачникам, романтическим самоубийцам и безвестным героям. Он был как будто создан для культа «победоносных провалов» в английской истории.

Самый извращенный пример этого героического отношения к великой неудаче можно найти в истории английского крикета. Столетие назад англичане потерпели настолько оглушительное поражение в крикетном матче с Австралией, что английская команда с героическим самоуничтожением сожгла все свои биты и урну с прахом отправила австралийским соперникам. С тех пор каждый год англичане пытаются как бы вернуть на родину эти сожженные биты в ежегодном чемпионате за обладание «Урны с прахом». Я, естественно, не случайно вспомнил эту крикетную историю, потому что завещание Джона насчет его праха оказалось связанным географически с военной катастрофой в Дюнкерке, ставшей в памяти ветеранов войны – типично для британцев – героической датой.

Британцы никогда не были великими стратегами (вспомним Крымскую или Первую мировую войны) и руководствовались в военных операциях скорее инстинктом, чем расчетом. Тысячи войск десанта британцев и их союзников были высажены на французский берег в Дюнкерке – прямо под бомбы гитлеровской авиации и артиллерийский обстрел. Это был ад. Героический, естественно, ад. Из этого ада и стали спасать – опять же героически – жертв этого катастрофического военного прощета. Весь британский народ, можно сказать, участвовал в спасении: переплывали Ла-Манш на весельных лодках, шлюпках, рыболовных баркасах, яхтах и катерах. Никакой квоты в смысле отлова жертв не было. Теперь отмечают юбилей этой катастрофы как героическую дату.

«Ты, дядюшка, у нас циник», – сказал Саша. Я не люблю, когда меня называют дядюшкой, тем более Саша мне не племянник, а кузен. «Дядюшка» возникал, когда Саша на меня злился. Моя ирония и скептицизм как будто подстегивали его эмоции. «И поражение от победы...» – процитировал он Пастернака чуть ли с дрожью в голосе, как будто защищая стратегию и тактику британского генштаба. С горящим взором восхищенного пионера он пересказывал невероятную историю военных походов Джона (со слов Монти) – некий гибрид Чапаева и Джеймса Бонда.

Джон, отколовшись в Дюнкерке от осажденных войск под обстрелом, потерял направление, забрел сквозь дюны довольно далеко вглубь оккупированной территории – и попал к немцам в плен. Он был отправлен в концентрационный лагерь для военнопленных на территории Польши. Ему удалось бежать. Пробираться на Запад обратно в Англию через оккупированные немцами страны было безумием. Он направился на Восток, в земли союзника – в Россию. Он ночевал в полях, лесах, придорожных канавах, заброшенных избах и стогах. Вроде Оливера Твиста, сбежавшего от гробовщика. Питался ягодами и корнями. Делал силки из веток орешника, ловил птиц и ел их живьем. Всему этому можно было поверить – до некоторой степени. До того момента, пока он не попал в Москву.

«Как же его не арестовали, иностранца в сталинской России?» – недоумевал я. Саша, естественно, затруднялся ответить на этот вопрос. Представьте себе англичанина, небритого, в ломотях военной формы британской армии, бредущего по улицам Москвы или какого-нибудь Благовещенска. О'кей, возможно он был уже не в британской военной форме: может быть, в телогрейке с чужого плеча и в валенках. В стране война – кто только не бродит в обмотках и в ломотях по городам и весям. Может быть, он от рождения обладал таким талантом к языкам, что уже свободно говорил по-русски с акцентом (выучив его в лагере для военнопленных в Польше) и выдавал себя за литовца. Может быть. А может быть, его и арестовали, он попал в какой-нибудь лагерь для иностранцев и оттуда снова бежал? Чем убедительней я опровергал те ли иные детали этой легенды о невероятных маршрутах Джона, тем вдохновенней Саша отстаивал версию событий в изложении Монти. Я сразу понял, что фактография и логика в этом сюжете играли вторичную роль. Легенды не нуждаются в логике.

В загадочной стране СССР Джона всегда кто-то спасал. Хлебом кормили крестьянки его, парни снабжали махоркой. Добрые люди прятали его от властей. Они же подсказали ему, что в Мурманск заходит британский «арктический конвой» – военная помощь Советской России. Как Джон добрался из Москвы до Мурманска, одному Богу известно. В Бога Джон, как мы знаем, не верил, и поэтому этот маршрут остался для потомков загадкой. Мистический многострадальный

русский народ выводил его на верную дорогу. И Джон в конце концов воссоединился с соотечественниками на борту британского фрегата. Потом было путешествие через ледяные просторы северных морей, атака гитлеровских эсминцев и подводных лодок, ураганы, крики чаек и, наконец, белые скалы Дувра.

Вполне возможно, что моя ирония тут неуместна: все в действительности так и было. Россия, как и вся Европа эпохи Второй мировой, была гигантским лагерем перемещенных и пересыльных лиц, затерявшихся железнодорожных составов, исчезнувших районных уполномоченных. В советской России, как и в нацистской Германии, не только доносили на шпионов и врагов народа, но и спасали друг друга. В долгие зимние вечера в Киле, под суровый рокот штормового моря, Джон в компании с Монти рассуждал о судьбах России: «Может быть, пройдя горнило сталинизма, – говорил Джон (в пересказе Монти), – Россия поняла то, чего Западу никогда не понять?» Где еще на свете бремя молчаливого страдания неразлучно с весельем духа, кровавые расправы с интимной задушевностью, убогость ежедневного быта с размашистой щедростью? В память об этой диалектике русского духа, парящего над бездной, Джон и завещал развеять свой прах в порту Мурманска. И Саша на берегу Ла-Манша обещал совершить вместе с Монти это паломничество. Это и стало их «клятвой Герцена и Огарева».

«Ты же боялся туда возвращаться», – напомнил я Саше.

«До сих пор боюсь, – кивнул он утвердительно. – Но это другой страх. Помнишь, что ты мне сказал однажды в детстве, когда мы с тобой удили рыбу на Преображенском пруду?»

Я, естественно, не помнил. Но промолчал. Я много тогда чего говорил. Это было во время моего первого – после эмиграции из России три десятка лет назад – визита в Москву в начале девяностых. Система рухнула, но страна все еще сохранила советский облик, а на городских окраинах время как будто остановилось, выжидая. Я прекрасно помню Преображенский пруд. Там еще рядом стоял на берегу кинотеатр. Это была большая городская лужа. Никакой рыбы там, естественно, не было. И быть не могло. Но на берегу всегда можно было застать нескольких местных граждан с удочками, особенно по выходным. Они предавались этому лирическому занятию, делая вид, что вокруг не рухнувшая советская власть, а сплошной пейзаж художника Левитана.

«Помнишь, ты мне сказал: важно не что, как и почему, а с кем, где и когда?» Какие только предложения мы не выдаем в присутствии восхищенных мальчиков! То есть, я понимаю смысл сказанного, но не помню, почему я это сказал. Я, однако, хорошо помню нашу с ним прогулку к пруду. Я помню и свое впечатление от Саши тех лет: неловкий школьник, краснеющий от каждого неосторожного слова, он не общался со своими сверстниками, держался в стороне. Может быть, поэтому его постоянно тянуло ко мне, вообще к старшим. Ну и мой статус иностранца несомненно гипнотизировал. Он ловил каждое мое слово. Неважно, что, как и почему, а важно где, с кем и когда. Что же я все-таки имел в виду? Можно переставить слагаемые, и в других обстоятельствах совершенно противоположный по смыслу афоризм звучал бы с неменьшей убедительностью. Мы производим безответственные силлогизмы, спровоцированные нашими личными обидами и счетами. Мы эти предложения довольно быстро забываем. Но рядом всегда оказывается случайный свидетель, внимательный слушатель, в уме которого эти подслушанные хаотичные обрывки мыслей становятся руководством к жизни, заповедью Моисея, новым Евангелием.

«Я знаю теперь, кто я, где и с кем я сейчас, – повторял Саша. Голос его становился звонче. Он весь как будто светился изнутри. – У Монти тоже страх перед Россией. Мы говорили об этом всю ночь».

Всю ночь? О России? Я смотрел на Сашу широко открытыми глазами. Вот уже который год я месяцами живу в Киле, несчетное число раз сталкивался с Монти, комической для меня фигурой, на улице, в пабе, на берегу, но так и не удосужился узнать, чем же, в конечном счете, был одержим всю жизнь этот человек. Наши разговоры, как вы заметили, сводились к моим ироническим репликам по поводу его коллекционирования римских монет и того, что я воспринимал как обывательское любопытство к России – державе, чья история похожа в его глазах на роман готических

ужасов. Действительно, мы, родившиеся в советской стране, пионеры светлого будущего всего человечества, плохо себе представляем, какой ужас внушал Советский Союз за границей своей ядерной мощью. Западный мир не знал скуки и убожества советской жизни, бездарности, бардака и бессилия советской системы. Запад жил в апокалиптическом ожидании ядерной катастрофы, парализованный страхом – готическими ужасами за Железным занавесом с кровавыми подвалами Лубянки, вечной мерзлотой Сибири и, наконец, советской Атомной бомбой.

Для Монти Россия тоже была неким кошмаром его детства, от которого он до сих пор до конца не избавился. Но, как выяснилось из его разговоров с Сашей в ту ночь, Монти вырос в Ирландии, мальчиком был отправлен в католическую школу-интернат, и признавался, что в детстве по ночам молился за спасение многострадальной христианской России, русской души, затоптанной сталинским сапогом. Этот страх он ощущал как грех. Потому что этот страх делал его слепым – ко всему светлому и христианскому, что пряталось за железной советской маской. Эта маска отпала от лица России, и теперь у Монти появилась надежда преодолеть этот страх: отправиться в Россию и, развеяв прах Джона, отдать дань памяти всем тем русским людям, кто помог Джону добраться обратно, домой, до берегов Альбиона – до Монти.

«Но ты Россию не просто боишься: ты говорил, что ты ее ненавидишь, – напомнил я Саше. – Откуда, кстати, у тебя взялся советский гривенник в пиджаке?»

«А это советский пиджак. Я его на Преображенке купил, на рынке. В таком Брежнев мог ходить. Античная древность. Чистый панк». Он помедлил. «Понимаешь, – он взъерошил свои волосы, глядя в одну точку. – Понимаешь, я ненавидел Россию, потому что считал, что от нее некуда деться. Сейчас, вдвоем с Монти, я увидел другую страну – его глазами: с другого берега – глазами иностранца».

Я мог лишь догадываться, что он имел в виду. Чтобы узнать собственную страну, нужно из нее уехать. Одиночка и чужак у себя дома, Саша здесь, за границей, в компании Монти, вдруг осознал себя частью большого сюжета, где все с большой буквы: Вторая мировая война, Сталин и Гитлер, Атомная бомба, Перестройка, Русская мафия. Он воображал паломничество в Мурманск как своего рода преодоление их обоюдного страха перед Россией, очищение от прошлого. Каждый, мол, развеет прах своего прошлого по ветру, и оба будут свободны.

Я решил не уточнять смысла этой свободы: совершенно ясно, что он повторял эту романтическую белиберду про некую «другую Россию», потому что впервые в жизни понял, чего он на самом деле хочет. Чисто лично. Чем дольше я его слушал, тем четче понимал: у меня на глазах отношение к отечественной истории менялось в зависимости от личных отношений. Личный сюжет был важнее исторических последствий. Так, наверное, и должно быть.

«Ты мне не веришь?» – допытывался Саша. Я взглянул ему прямо в глаза и прочел там ответ на его вопрос: ему было все равно, верю я ему или не верю. Я видел перед собой совершенно преобразенное существо. Он не превратился из Савла в Павла, но по дороге в свой, так сказать, Дамаск он даже внешне изменился. Исчезла присущая ему подростковая зажатость (как будто в ожидании удара невидимого врага), стеснительная уклончивость взгляда:

«Мы сможем быть вместе, Монти и я. Понимаешь?» Легкая улыбка пробежала у него по губам. «Куда мне девать мокрое полотенце? – спросил он, поднимаясь с кресла. – Я валюсь с ног – целую ночь не спал». И затопал ногами по лестнице вверх в спальню.

Как будто смущенное этим рассказом, солнце исчезло. За окном моросил весенний дождь. Я не спеша позавтракал, проглядел газеты, послушал новости по радио, но в конце концов решил совершить утренний моцион. Я вышел на набережную. Штормило. На берегу было полно рыбаков, но Монти среди них я не заметил. Кричали чайки. Это значит, что рыба вернулась к нашим

берегам. И действительно, когда я дошел до поворота к пабу, я увидел Виктора. Это был его выходной, поэтому он стоял не за стойкой бара, а на берегу. В руках у него была самодельная удочка.

Знаю ли я, спросил меня Виктор, что Монти наконец-то нашел себе гида для поездки в Россию? Он оторвал свой взгляд от горизонта, и в глазах его, как будто постоянно подмигивающих, я прочел зуд профессионального сплетника – желание поделиться сенсационной новостью. Он сказал, что перед ужином Монти с Сашей зашли в паб и что Саша обучал Монти пить водку. Вдох, рюмка, выдох, и так далее, своего рода йога – «водка-йога», как говорил Саша, повторял странное слово «зыкр» и смеялся.

«А потом они сидели на берегу, взявшись за руки», – доложил мне Виктор.

«Что вы имеете в виду? Молились? Удили рыбу?» – Виктор не ответил. Лишь глянул на меня внимательно и отвернулся к горизонту.

«Кстати, откуда у Монти взялась рыба в безрыбный день?» – спросил я, напомнив Виктору его теории насчет туманов, чаек и рыб.

«Ну да. Морской окунь. Огромный!» – подтвердил Виктор.

«Где же он его выловил?» – спросил я.

«Как где? Сбегал в рыбный магазин на углу, пока вы ходили встречать кузена на станцию».

Дарья ВЕРЯСОВА

МУЛЯКА

Повесть

Людам Крымска посвящается

– Дарья, вы слышали про Крымск?

Про Крымск я читала в утренней метрошной газете. Его затопило ливневыми дождями, но это было давно, недели две назад, и последствия уже ликвидированы.

– Нет, – возражает Лотта. – Говорят, не всё так просто. Полгорода разрушено, туда требуются волонтеры, дорогу оплачивают – может, поедем?

Мы курим на лестнице общаги, нам совершенно нечем занять это лето. Но я не представляю, как мы, филологические барышни, можем помочь затопленному Крымску, и очень не хочу становиться для кого-то обузой.

– Ладно бы мы хоть делать что-то умели. К тому же, прошло столько времени, наверняка там всё наладили.

– Но волонтеры-то требуются. Значит, не всё.

Лотта, вопреки обыкновению, настроена решительно, по всему ясно, что, если я не соглашусь, она поедет одна.

На следующий день мы садимся в поезд.

Первый день

Мы приехали в Крымск ранним утром, по холодку. Поставили палатку и легли вздремнуть, так как спали ночью часа три. Но уже вставало солнце, палатка неотвратимо нагревалась. Уснуть в духоте не получилось, к тому же позвали завтракать. Под тентами полевой кухни стоял большой чан перловки, от которой меня тошнило всю жизнь, но сейчас я ела кашу почти с наслаждением. Зажевала помидором и запила кофе. Вокруг толкались и шумели заспанные люди.

– Восемь. Сейчас нашисты флаг поднимать будут, – сказал кто-то.

Через несколько минут издалека донёсся гимн. В поле это показалось дикостью.

Да, лагерь волонтеров располагался в большом поле, на стыке улицы Коммунистической и трассы Новороссийск – Краснодар. Раньше здесь был рынок, а теперь стояли разноцветные палатки: около пятидесяти, многие двух- и трёхместные. С обоих концов базировались части МЧС, по другую сторону наезженной полевой дороги стояли пресловутые нашисты, которые уехали через день или два после нашего прибытия. За трассой росли подсолнухи, куда, по слухам, до прибытия биотуалетов народ бегал уединяться. Уже к девяти утра в палатке было невозможно находиться, привезённые с собой ириски плавилась.

Дарья Верясова родилась в Норильске. Живёт в Москве, учится в Литературном институте. Лауреат «Илья-премии» за 2009 год, стипендиат премии имени Николая Рубцова. Публиковала стихи в журналах «День и ночь», «Октябрь». В журнале «Волга» публикуется впервые.

В штабе нам сообщили: нужно сделать прививки, работать мы можем на гуманитарке или же «на говне», а в лагере принят «сухой закон». Приехавших с нами медиков сразу отправили «на говно» – чистить от муляки затопленные дома. Остальных оставили в лагере. Мы с Лоттой огорчились, мы хотели увидеть город своими глазами, но покорно отправились на рабочие места: я – на регистрацию, она – на поле, усеянное одеждой и обувью, разбирать и сортировать.

– Берёшь заявку, заполняешь, кому что нужно. Помощь мы развозим адресно, чтобы не спекулировали, а то и такое случается. На руки выдаём только воду. За медикаментами отправляй в медпункт, за одеждой – на поле. Только выписывай каждому пропуск, а то МЧС завернёт, – объяснила мне Оля с сильно обгоревшими плечами. У неё охрипший голос и добрые усталые глаза. Судя по загару, она – одна из первых «крымчан». – И не заморачивайся, а то тут многие приходят – очень любят требовать. Нет бы от государства потребовать...

В правоте Оли я вскоре убедилась – приходили люди самые разные. К вечеру я наострилась отделять реально пострадавших от пострадавших не очень. Первые либо стеснялись просить, либо плакали. Вторые, в основном, требовали бытовую технику и орали, что слишком долго им не привозят помощь, что мы ни черта не делаем, что они будут на нас жаловаться и вот прямо сейчас отправятся писать письмо президенту на сайт. Гораздо позже я узнала, что многим пострадавшим вообще было не до того, чтобы куда-то ходить. Они были ошарашены случившимся, они разбирали завалы в собственных домах, чистили приусадебные участки, да и просто не знали, что можно куда-то обратиться за помощью.

Притопали два парня, которые заполнили заявку с указанием телевизора и сотового телефона и пытались сфотографировать её так, чтобы видно было дату. Они очень смутились, когда поняли, что к официальным органам мы не имеем отношения и, по сути, ничего им не должны. Даже извинились.

В лагере в тот день не было почти ничего – новая гуманитарка была не разобрана, воды оставалось мало – мы не могли ничего дать людям. От жары – больше сорока градусов – у меня кружилась голова. Страшно хотелось пить, но минералка была тёплой и жажды не утоляла. К концу дня она нагревалась до состояния кипятка, и пить её, раскалённую, было уже невозможно. Иногда кто-то бегал в магазин и покупал холодную воду, которую выпивали толпой и быстро – чтоб не успела согреться. Постоянно приходили люди, в основном, татары, плохо говорящие по-русски и желающие всех благ, которые мы можем им дать, и толпились, и спорили, чья очередь заполнять у нас заявку.

– Что именно вам нужно? – спрашивала я.

– А что у вас есть? – отвечали мне.

Часа в три вместе с невесткой пришёл ветеран Великой Отечественной войны. Он сказал:

– Нужна лопата и матрас. Всё.

Невестка возмутилась:

– А как же тарелки? А как же кастрюли? Всё же уплыло! – и мгновенно перекинулась на меня с воплями, что мы ничего не делаем.

– Справимся, – ответил ветеран. – Кастрюля есть одна. А на девчонок не ори, они ни при чём, они молодцы.

И улыбнулся мне ласково. Я отметила в его заявке всё, что только могла: от медикаментов до раскладушек.

Подошла утомлённая жарой Лотта, плюхнулась рядом и задумчиво сказала:

– Вот в Анадыре сейчас хорошо, наверное... Холодно.

– Лотта! – взмолилась я. – Подмените меня, я сбегая обольюсь чем-нибудь!

Лотта согласилась, и я убежала в полевой душ, собранный из огромной палатки, трубы с распылителями и цистерны с водой. Через мгновение туда же ворвалась девушка с характерным для волонтеров загаром – белыми майкой и шортами. Остальные части тела были тёмно-коричневыми.

Она оказалась Надей – координатором тех, кто ездит «на говно». Я, не выходя из-под хлорированной струи, стала напрашиваться в её ведомство. Она, не выходя из-под соседней струи, сообщила, что людей ей не хватает, и она с радостью отправит нас куда-нибудь с лопатами, но завтра, поскольку сегодня уже все разъехались на объекты.

По выходе из душа я пожалела, что не взяла с собой китайские резиновые тапки – единственные босоножки от воды разбухали и грозили вскоре меня покинуть.

– Так найди себе что-нибудь в гуманитарке, – посоветовала Оля.

– Ну... как-то это... – протянула честная (это же для потопленцев!) и в ту пору брезгливая я.

– Ну хлоргексидином обработай и носи. Тут на третий день все в гуманитарке ходят. Своё изнашивается быстро.

На поле с гуманитаркой в хаотичном порядке была разбросана обувь. Встречались шпильки и лодочки, шлёпанцы и кеды – всё по одному. Надо было сильно постараться, чтобы найти пару. Через полчаса непрерывного ползанья под палящим солнцем и ворошения бесконечных коробок я нашла шлёпанцы своего размера. Дикого оранжевого цвета на небольшом каблучке. Щедро положила их хлоргексидином и вернулась на регистрацию.

К вечеру я принимала душ, не раздеваясь, и намертво помнила многие затопленные улицы: Луначарского, Адагумская, Советская, маршала Гречко... Было страшно видеть такое количество потопленцев, в особенности – с маленькими детьми.

– Это ты ещё в первые дни сюда не попала, – вздохнула Оля.

Помимо чужих на регистрацию постоянно заглядывали свои: долго сидел с нетбуком очень загорелый твиттероман Тёма Щегол, потом пришёл парень с мотоциклетным шлемом, на котором было написано «Гастарбайкер», и очень удивился, что я его не знаю в лицо и по имени.

– Я мотоволонтёр, – сообщил он. – Иногда по вечерам на мотоцикле девушек катаю. Ты, как стемнеет, подходи к дальним палаткам, я и тебя прокачу, – и поиграл бровями.

В восемь вечера Оля дала отмашку:

– Быстренько сворачивай тут дела, а то до ночи просидишь.

К тому времени я сидела на регистрации около одиннадцати часов и больше всего в жизни мечтала залезть в Северный Ледовитый океан. Народ собирался ехать на озеро. Мы с Лоттой сделали печальные глаза, и нас тоже взяли купаться.

Вшестером мы кое-как влезли в «Жигули» местного волонтера-автомобилиста Саши – очень милого армянина с забавным и хитрым взглядом. По пути мы встретили его друзей на красной «Ниве» и были с Лоттой отсажены к ним на пустое заднее сиденье.

Это оказалось не озеро, а водохранилище. Вода в нем была тёплой настолько, что не освежала. На берегу начинались комары и распитие местного вина. Мы с Лоттой переглянулись: сухой закон, которым нам грозили в лагере, нарушался самым бесстыдным образом – и присоединились. Сказать по совести, было странным нам, новичкам, оказаться в компании старожилов Крымска. Сидевшая на земле Надя очень печалилась, что вскоре ей придётся уезжать в Питер.

– Я такого нигде не встречала, – говорила она. – Когда тащишь бревно, а мужики вырывают его у тебя из рук, потому что видят, что тебе тяжело. Хотя ты изо всех сил этого не показываешь! Я не понимала страданий Нади, а её слова показались мне пафосными.

Назад нас везли те же парни на «Ниве». Ребята оказались славными: они долго колесили по полю, пытаясь вспугнуть для нас зайца, свозили на смотровую площадку, купили нам ещё вина и в целостности и сохранности привезли в лагерь.

Также они рассказали, что пострадали две трети города, воду намеренно спускали из нескольких водохранилищ, чтобы не затопило Новороссийск (и я вспомнила водохранилище, в котором мы купались), волна была высотой в семь метров, и погибло три тысячи жителей. Но если власть признает более двухсот погибших, ей придётся пустить в город международную комиссию, а в преддверии Олимпиады никто на это не пойдёт. В тот момент я внезапно поняла, что, как человек,

проживший июль без интернета, совершенно не представляю себе ни причин, ни последствий наводнения, ни даже современного состояния города.

Ночевать в палатке я оказалась наотрез и примостилась под открытым небом. Лотта последовала было моему примеру, но к утру заколелась и перебралась в палатку. Ночи в Крымске были на удивление холодными.

Муляка

Утром на пути к умывальнику я встретила Олю.

– Что-то вы вчера задержались! – съехидничала она.

– Мы по полю катались! – воскликнула я. – Ребята хотели показать нам зайца!

– Зайца? – захихикала Оля. – Показали?

– Нет.

Я ещё не отдавала себе отчёт, что многие люди торчат в лагере уже три недели: на солнцепёке, в условиях тяжёлого физического труда, от которого ночью берёт бодрок и трудно заснуть. Юмор в таких условиях приобретает специфические черты. Тем более, девушек в лагере было мало – раз в пять меньше, чем мужчин. Поэтому меня пять раз звали замуж и пятьсот – в палатку. Но чувство самосохранения подсказывало: «Ни-ни! Дашь одному, от остальных не отобьёшься», – и я развивала чувство юмора.

Машина задерживалась, и прежде чем ехать на объект, мне пришлось ещё немного посидеть на регистрации. Не потому, что заставляли – самой хотелось что-то делать. В то утро наконец-то ввели порядковые номера на заявках, и к десяти мы заполняли тридцать седьмой бланк.

Люди рвались на поле с гуманитаркой, обходили МЧС с разных концов, копались в одежде, орали, ругались, зарываясь в неё по пояс, и напоминали гигантских блох.

Периодически я бегала к Наде узнавать, не пришла ли машина.

– Скоро придёт. Можешь ехать туда в своём, если не жалко выкинуть, – сказала Надя. – Замаешься потом отстирывать. Поэтому лучше поищи в гуманитарке штаны и рубаху. И перчатки возьми прорезиненные. И сапоги!

На складе нашёлся только один сапог моего размера – 39-го и один 38-го. Все другие были от 41-го до 45-го. Пришлось брать разномастные сапоги. 38-й вёл себя нелогично и норовил свалиться с ноги, меж тем как 39-й поджимал.

Нас с Лоттой определили в бригаду к питерскому казаку Серёге – добротному мужику с висячими усами и лейкопластырем на переносице. Четвёртым с нами отправился то ли пришибленный, то ли укуренный чужак Кирюха. В Крымск он приехал автостопом.

– Я сначала хотел на велике, – сказал он заторможенной дикцией. – Купил в Москве за девять тысяч. За четыре дня доехал почти до Саратова. Плюнул, бросил на трассе. Дальше на попутках поехал. Лучше бы не покупал велик.

– Подфартило кому-то, – заржали мы.

– А потом меня друзья накормили конопляной кашей. Я прихожу, смотрю: каша. Зелёная какая-то. Я с голодухи двадцать ложек съел. И надо мной все ржали. Это в Джубге было.

На нужный адрес – Авиационная, то – мы ехали сначала через пустырь, где затевалось строительство высотных домов для потопленцев, а затем через одну из самых пострадавших улиц. Каждый третий дом был уже снесен, но ещё многие лежали на земле, подогнув проломленные стены и прихлонутые сверху крыши. Почти на каждом заборе висели листки с надписью «Под снос».

– Дома старые, из саманного кирпича строились, – пояснил Серёга. – А это ж песок. Вот волна подошла, их и размыло почти мгновенно.

Серёга работал в Крымске чуть ли не с первого дня. Разбирал завалы, в одном из которых поймал педофила на месте преступления, таскал трупы, чистил муляку.

– А что у вас с носом? – спрашиваю я про лейкопластырь.

– У нас в лагере все на «ты», – отрезает Серёга. – А нос я от пота рукавом вытер. Ну, рукав в муляке, а там же трупный яд – заражение пошло, вот и разбарабанило.

В Крымске не работают ни карта, ни логика. Авиационная улица обрывалась на пятом доме и продолжалась совершенно в другом месте. Дом №10 стоял и вовсе на соседней улице и представлял собой высокий кирпичный особняк. Это вызвало беспокойство: мы были наслышаны о том, как иногда местные жители воспринимают волонтеров – как бесплатную рабочую силу для стрижки газонов и т.д. Серёга пошёл выяснять обстановку. Оказалось, в доме живут 16-летний Матвей, его 10-летний брат, их бабушка и дядя Коля с раздробленной правой рукой. Про родителей Матвея я так ничего и не узнала. Про них не было сказано ни слова.

Я спросила:

– Сильно вас залило?

Дядя Коля ответил:

– А вон видишь отметину на стене? Метр восемьдесят. Первый этаж затопило. Холодильник по двору плавал.

На стенах дома и прилегающих построек видна грязная полоса выше моего роста. Вода уходила, и следом, пачкая стену, медленно опускался толстый слой ила – муляки. Я пытаюсь представить плавающий в ней холодильник – и не могу.

К нашему приезду гараж и летнюю кухню кое-как почистили, а подвал – просторный, удобный – всё ещё являл собой руины «Титаника».

– В этой комнате у нас была морская каюта, – сказал Матвей. – Тут висели канаты, стояли вина и книги. Даже телефон протянули, чтоб наверх не бегать, если кто позвонит. Очень уютно было.

В слабом освещении подвального окошка из-под слоя зеленовато-глянцевого ила пробиваются очертания вещей – бутылок, банок, досок, железяк. Кое-где муляка легла трёхсантиметровым слоем, в других местах она на десять сантиметров накрыла вещи. Их приходится раскапывать руками и долго очищать, иначе не поймёшь, что там – в грязи? Всё перемешано, перебито и переброшено из одной комнаты в другую. Сейчас, двадцать дней спустя, муляка подсохла и стала неподвижной, но стоит поставить в неё ногу, как она оживает и чвакает.

Сильная вонь от гниющего зерна разносится по всем трём комнатам подвала. Ноги утопают и разъезжаются, через несколько минут на сапогах висит килограмма по три грязи, ходить в них становится сложно. Пытаюсь соскоблить её лопатой, но она налипает уже на лопату. Пытаюсь лопату почистить сапогом – и муляка снова на сапоге. Выкопанные остатки велосипеда, полки, трубы, доски, какие-то железяки мы выносим на улицу на руках, бережно прижимая к груди, чтоб не соскользнули – тогда придётся нагибаться и поднимать их, мелочёвку и грязь таскаем в вёдрах. Коридор в пятнадцать шагов, четыре ступеньки наверх, двадцать шагов до мусорки, вывалил – и назад.

Через час мы похожи на глиняных человечков. За это время мы привыкли к запаху и ловко балансируем в грязи. Со лба капает пот, щекочет нос и заливается в рот, но я помню переносицу Серёги – сплёвываю и не утираюсь. В какой-то момент понимаю, что у меня катастрофически расходится ширинка на гуманитарных джинсах, но вскоре забиваю и на это – хрен с ней, пускай проветривается.

– Девчонки! – кричит Серёга. – Тяжёлое не таскайте!

– Девчонки! – кричит Матвей. – Найдёте полные бутылки, не выбрасывайте, там вино!

В час мы идём обедать. Полевая кухня расположена неподалёку. Здесь кормят не только по-топленцев, но и тех, кто работает на ликвидации последствий: МЧС, милицию, волонтеров. На первое мясной борщ, на второе плов – всё потрясающе вкусное. И без жадности – свежих овощей: помидоров, огурцов, перца, чеснока. По привычке я думаю, что чеснок есть не стоит – от него запах. Потом вспоминаю запах в подвале, и мне становится плевать на всё. С этого дня я ем, как мужик, не задумываясь о том, как выгляжу со стороны.

Впятером – вместе с Матвеем – мы работали до шести вечера и успели почистить ту самую морскую каюту размером примерно 3х5 метров.

– И что, вы совсем бесплатно работаете? – дознавался Матвей. – Приехали из Москвы, чтобы бесплатно поработать?

Я практически вижу, как этот факт ходит ходуном и не может улечься в его черноволосой голове. Больше всего этот парень похож на прижимистого украинца. Он учится в Новороссийском кадетском казачьем корпусе и к кошевому атаману Серёге мгновенно начинает испытывать положенное субординацией уважение. Возможно, ещё и потому он разрешает нам выбрать бутылочку вина из числа спасённых. Мы с Лоттой взяли мартини, Серёга прихватил коньяк.

– А ты бы не поехал нас спасать, если бы что-то произошло в Москве?

Матвей хитро глядит на меня, улыбается и честно отвечает:

– Вряд ли.

Дядя Коля выдаёт нам с Лоттой по полотенцу и отправляет в душ. Он знает, как меня зовут, но иногда, в порыве ласки зовёт меня девочкой:

– Ты, девочка, в следующий раз надевай штаны поцеломудреннее.

Выясняется, что прокол с ширинкой заметили все, но интеллигентно молчали.

Приехала бабушка Матвея, накормила нас арбузом и отвезла на своей машине в лагерь. Вещи и инструменты мы оставили на месте, поскольку работы было ещё на день, а то и два.

После прохладного подвала лагерь показался нам адской печкой. На регистрации по-прежнему не хватало людей, но сил не оставалось.

Ужин ещё не приготовили, и мы отправились в магазин. Купили хлеба, плавленого сыра и ледяной воды. Солнце жарило со страшной силой, тень от палатки не спасала. Мы решили поискать пристанища возле грузовиков МЧС.

– Куда идём? – наперерез двинулся мужчина в форме.

– В тень! – простонали мы, падая возле КАМАЗа.

Мужчина захохотал и, заметив запотевшую полторашку, попросил попить.

Невесть откуда набежавшие МЧСовцы – молодые здоровые парни – так упорно пытались нас накормить и развлечь, что пришлось спасаться бегством.

– Как же нагло плятятся! – негодовала Лотта. – Так бы и треснула по морде.

– Да будет вам! – засмеялась я. – Ловите кайф! Когда мы ещё в такой малинник угодим!

Когда стемнело, мы собрались для распития дневной добычи. Кирюху, ввиду его откровений про кашу и велик, решили не брать – чтоб совсем не свихнулся.

Суровый питерский казак Серёга глядел на меня влюблёнными глазами, звал замуж и обещал, что я очень понравлюсь его маме.

– Из тебя, – говорил он мне, – вышла бы хорошая казачка. Взгляду у тебя чистый и прямой. Я днём заметил, как ты радуешься каким-то очень простым вещам. Я буду звать тебя Даурией.

Я поперхнулась и захохотала. Серёга озадачился и ухаживания приостановил.

– Там, где мы сегодня работали – ещё не самое худшее. Их не сильно затопило. Сейчас многие в таком положении. Меньше метра вообще не считаются пострадавшими – им даже компенсацию отказываются платить. Да и вообще – хорошо, если сами выжили. Волна-то

какая была, людей уносило. А про домашних животных и говорить не стоит. Вот так, будешь спать, а на тебя воду спустят...

Я представляю себе свой дом, свой личный подвал, погребённый под слоем муляжи, и мне хочется плакать. Даже если это просто подвал – в нём мои вещи, которые я собирала, может быть, всю жизнь. А какая-то сволочь взяла и лишила меня моих воспоминаний и даже не извинилась. С этого дня в мой лексикон прочно вошла фраза «ёбаный стыд».

На следующий день Надя хотела отправить нас в другую бригаду.

– Но я вас отстоял. Как таких девчонок отпустить – вы десятерых парней стоите! – заявил Серёга.

Из этого я сделала вывод, что за ночь алкоголь из Серёги выветрился, а влюблённость – нет. Накануне он пытался меня поцеловать, и теперь глядеть мне на него было не слишком приятно. Но работали мы по-прежнему на славу – к вечеру расчистили две оставшихся комнаты. Муляжа не давала нам передышки. Стоило расчистить коридор, как через полчаса он снова превращался в расхлябанную дорогу. Грязь на сапогах уже не вызывала раздражения. Привыкли.

В тот день к нам присоединились два странных субъекта из Анапы. Перекур они объявляли через каждые двадцать минут, обедали два часа, один раз бросили бревно мне на ногу и вообще вели себя кое-как. Ближе к вечеру, когда оставалось всего ничего работы, а они снова потребовали перекура, мы с Лоттой не выдержали и объявили, что не выйдем курить, пока не закончим работу, а они там пускай хоть укурятся. Достать нас из подвала удалось только дяде Коле.

После перекура мы закончили всё в 10 минут.

На солнышке грелся котёнок. Малюсенький, милый. Пришла рыжая мамаша и начала его вылизывать.

– Вот выпала ему доля жить, – сказал дядя Коля.

– А Шарик?

Шарик – уличный пёс небольшого размера и свирепого нрава, в первый же день внушил нам страх и ужас.

– А Шарика успели отвязать и забрать в дом.

В разговор включается Матвей:

– Бабушке среди ночи позвонили, сказали, что наводнение. Она сначала решила, что шутка, предупреждения же не было, потом вышла во двор, а там уже вода. Так она даже нас не разбудила, села в машину и угнала её на горку. Вовремя успела, потом вода резко на полтора метра поднялась. А мы бы так и спали. От шума проснулись. Правда, мы на втором этаже...

– А у тебя кто-нибудь из знакомых погиб?

– У моего друга родители утонули.

Дядя Коля долго выпытывает, где и в каких условиях мы живём, хорошо ли нас кормят, снабжают ли табаком, а после дарит мне на память портсигар с сигаретами. Я в восторге. Я давно мечтаю о портсигаре. Я хочу обнять дядю Колю, но стесняюсь.

– На Руси последнюю рубаху отдавали! – втолковывает он Матвею. – Всегда помогали людям! Вот и они помогают. Учись.

А мы понимали, что жизнь проста и незамысловата. Я просыпалась и видела, как ползёт муравей – и была счастлива, что он ползёт.

Люди

На четвёртый день мы должны были ехать в Нижнюю Баканку помогать казакам разбирать завалы. Надо сказать, именно казаки по ночам патрулировали самотоптанные улицы нашего па-

латочного городка. Правда, где они базировались и откуда приезжали в наш лагерь, я так и не поняла.

– Воля ваша, Дарья, – сказала Лотта, – а я чувствую, что мне надо сменить работу. Всё же тяжела она для моих глаз.

У Лотты сильная близорукость, и окулист запретил ей таскать тяжести.

– Вот сегодня день отработаем, – ответила я, – как-никак обещали – и надо сваливать в другой лагерь. Серёга меня удручает.

Серёга, действительно, постоянно топтался неподалёку и глядел ищущим взглядом, а я не знала, как и о чём с ним говорить, и начинала злиться. Кроме того, общий лагерь, изначально имевший два полюса, внезапно раскололся. Мы оказались в странном положении: палатка была выделена одним лагерем, а спальники – другим. И если про спальники все забыли, то из палатки нас однажды пытались выселить. Поэтому мы приняли волевое решение: официально перейти в отколовшийся лагерь (чтобы не очутиться под открытым небом), но в нашем прежнем лагере никому об этом не говорить (чтоб, не дай бог, не лишиться спальников). А работа везде найдётся.

Всё утро прождали машину.

– Поначалу, – сказал Серёга, – таксисты бесплатно возили волонтеров на объекты. Сейчас уже все подуспокоились, задарма не берут. Будем ждать, авось приедут за нами.

От регистрации меня тошнило сильнее, чем от муляки, поэтому в полдень мы всё ещё бездельничали.

Глядя на трассу Краснодар – Новороссийск, я спросила:

– Лотта, а вы были когда-нибудь в Новороссийске?

– Нет.

– А вашей сумасбродной Дарье пришла в голову идея...

Лотта согласилась, почти не колеблясь, Серёга посмотрел печально и отпустил нас без лишних слов. А машины в тот день так и не пришли. И Нижнюю Баканку я своими глазами не увидела.

На обратном пути мы купили домашнего вина и отправились на соседские посиделки к Тёме Щеглу. Красавец Тёма узнавался издали по неизменной арафатке на шее, голому торсу и чёрным очкам. Именно он умудрился создать в полевых условиях чайный клуб. На газовой горелке кипятилась вода, заваривался пуэр с какими-то травами, каждому выдавалась чашечка или пластиковый стаканчик. Ради этого священнодействия Тёма даже отрывался от любимого «твиттера». Как правило, содержимое стаканчиков и чашечек быстро подменялось алкоголем со стороны гостей. Ещё приносилась гитара и звучала до самого утра.

Спать мы отправлялись зачастую уже на рассвете. А после восхода резко начиналась жара, будившая обитателей лагеря лучше любого будильника.

Завсегдатаями посиделок были медики: доктор Рома, почти виртуозно играющий на гитаре, доктор Юлия – пухленькая очаровательная похабница и Ваня – хозяин гитары. В одной группе с ними мы ехали из Москвы. Сюда же приходили МЧСники, не оставлявшие надежды завести краткосрочный полевой роман, заглядывали на огонёк казаки.

– Он и на Оккупайбае умудрялся всех поить чаем, – сказала мне позже Настя Топор. – Никуда не страшно ехать, если там Тёма, потому что тебя уже наверняка ждут горячий чай и уют.

Хрупкая 18-летняя Настя получила своё прозвище из-за того, что с первых дней наравне с мужиками разбирала завалы и таскала трупы.

– Так МЧСники же не пускали туда, где могли быть трупы? Как же ты их таскала? – недоумеваю я.

– Как, как... Завал чистишь, а там «цветочек». Ну и вытаскиваешь.

О размерах «букета» Настя умалчивала.

Кроме прозвища, она была знаменита ещё тем, что участвовала во всех «Стратегиях-31», из-за чего неоднократно задерживалась милицией, а за время крымской эпопеи умудрилась поте-

рять паспорт, телефон, компьютер и даже палатку. Правда, в конце концов, добрые люди отыскали ей всё, кроме телефона.

Ещё была Аида – утончённая городская модница, в числе первых приехавшая на это, тогда ещё пустынное, поле с автобусом гуманитарки. Прямоком из клуба «Zavtra» под проливной дождь.

Приходила приземистая, коротко стриженная блондинка Наташа – начальница отделившегося лагеря. Уносила в палатку уснувшего в пластиковом кресле десятилетнего сына (тоже работавшего в лагере), потом возвращалась и долго сидела с нами. Рассказывала пошлые истории с непосредственностью и трогательностью маленькой девочки, пила больше всех, говорила матом. Но всем было смешно и хорошо, всем хотелось её обнять и погладить по голове.

Время от времени приходил Олег, у которого на бэйдже было зачёркнуто слово ВОЛОНТЁР и приписано ДОБРОВОЛЕЦ. После мне много раз доводилось видеть такие исправления у наших ребят.

Рано или поздно у всех заканчивались сигареты и деньги, и наступало время дешёвого «Донского табака» и заначенной на чёрный день «Явы». Мои тонкие сигареты и в грош не ставились. Алкоголь же не переводился. Но, несмотря на это, нервы у многих не выдерживали. Несколькими днями позже для Насти Топор вызвали скорую – зашалило сердце, Наташа психанула и уехала, позже выяснилось, что в Москве она легла в больницу, Аида никуда не хотела уезжать ввиду «крымского синдрома» и до последнего оставалась в лагере. Когда она всё же вернулась в столицу и через денёк пришла на вокзал провожать знакомых ребят в Крымск, то не утерпела, запрыгнула в вагон и поехала зайцем – в чём и как была.

Штаб собирался вводить правило семи-десяти дней (неделю в Крымске и марш домой!), но к тому моменту многие разъехались сами по себе.

А мы на утро пятого дня перешли в соседний лагерь.

Второй лагерь

Утром я проспала. Лотта встала рано и уехала в город. В последние дни лагерь применял практику «брожения»: волонтеры ходили по улицам и проверяли каждый дом. Напомню, не все местные обращались за помощью, и при таких обходах было легче обнаружить пострадавших.

Не отсотившись, я поплелась на кухню нашего нового лагеря – за кофе.

Возле кухни стоял, опершись на костыли, высокий, небритый и невероятно симпатичный блондин в полосатой пижаме – на манер больничной. Одна нога у него была загипсована.

«Стиленько!» – хмыкнула я про себя. А вслух спросила:

– Завтрак уже закончился, да?

Блондин взглянул на меня удивлённо и ответил весёлым голосом:

– То есть сначала мы спим до обеда, а потом завтракать просим?

Я посмотрела на него очень честным взглядом и опустила очи долу.

– Ну чего стоишь, иди завтракай! – и сам же засмеялся.

Это был Дима. На второй день по приезде в Крымск он разбирали гуманитарку, и кто-то уронил ему на ногу тяжелейший поддон. Перебитая связка требовала операции, но каким-то макаром Дима остался в лагере на три недели и сумел сделать из своих костылей неисчерпаемый повод для шуток. За это время ему, как и всему мужскому населению лагеря, изрядно напекло, но из его уст приглашения в палатку звучали остроумно и заманчиво.

В тот день я осталась в лагере – болели натёртые ноги. К тому же гуманитарку местная адми-

нистрация приказала вывезти на свалку (то ли сыпь у кого-то пошла, то ли корь), а значит, стоило быстрее искать себе сменную обувь. Те самые вещи, которые мы сортировали в первый день, безжалостно сгребались в кучи и забрасывались в кузов приезжающего грузовика. Среди ноше-ных вещей встречались запакованные, с бирками и ценниками. Они уже не шли потоппленцам, и приоделись мы на славу. Когда в Москве я зашла в «Секонд Хэнд», меня охватила паника – за всё это надо платить!

Уже третий день, не переставая, дул штормовой ветер, и в сторону лагеря летели пакеты и бумага, на которых лежали вещи, я бегала и собирала их в огромный мусорный мешок. По ходу дела, нашла лёгкие белые шлёпанцы своего размера, новенькие джинсы и чудное пальто из 60-х, которое, увы, оказалось мало.

Частенько в карманах вещей находились записки от людей, присылавших помощь. Так на-шлась записка от старенькой бабушки, она писала, что помогает, чем может, что крымчанам надо держаться и не расклеиваться, потому что вся Россия с ними. В бескрайнем поле пожертвованной одежды становилось абсолютно ясно, что, да, вся Россия думает о Крыме.

Я не помню, кто стал рассказывать про гуманитарку: как её задерживают под разнообраз-ными предложениями, как она оседает в руках бизнесменов, и что кто-то очень сильно на этом на-живается. Я не знаю, правда это или нет, но там, в Крыме очень легко в это верилось – я своими глазами видела измученных людей, просивших хотя бы питьевой воды. Эти люди требовали от-ставки мэра и губернатора и называли их ворами. Многие из них писали письма в администра-цию президента, надеясь на помощь доброго батюшки-царя. Другие же понимали, почему губер-натор работает до сих пор, и молчали, потому что в ином случае лишились бы и той минимальной денежной поддержки, которую им обещало государство.

Через несколько часов меня поймала начальник лагеря Наташа и спросила, что я делаю. Я честно ответила, что помогаю вывозить гуманитарку. Она заявила, что это не нашего лагеря дело и сейчас она придумает мне работу. Постояла минуту и исчезла. Я пожала плечами и вернулась к погрузке одежды.

Жара не унималась. Мне к тому времени тоже напекло, но в прямом смысле, и я, наплевав на мужские страдания, обрядилась в шорты и лифчик от купальника.

На выходе из палатки встретила улыбающегося Диму.

– А я никак не рассмотрю, в какую палатку мне ночью лезть?

– А ты, – отвечаю, – сначала костылями потыкай.

После гуманитарки верхнего лагеря я перешла на гуманитарку нижнего. Работала на этом объекте Стелла, она собирала заказы, формировала наборы (бельё, одеяла, кастрюли, бытовая химия, детское питание) и развозила помощь по адресам.

– Смотри, тут три маленьких ребёнка. Им нужно вообще всё, у них ничего не осталось, – сказала Стелла. – Накладывай всего, а детского питания – побольше. В той палатке химия, в той бельё и одеяла, в той кастрюли и сухие смеси, в общем, это несложно.

Вскоре машина местного волонтера Андрюхи забита под завязку полными мешками. Вместо перекура иду мыть посуду.

– Поедешь с нами развозить? – спросила Стелла через некоторое время.

Улыбчивый Дима пытался пристроить меня на кухню – варить ужин, а я отбивалась, как могла. К тому времени мне хватало пяти помидоров в день, от жары тошнило, и представить себя на кухне я не могла никак. Но под синим взглядом Димы моя упёртость таяла и становилась жалкой лужицей. Поэтому я спешно домыла посуду и ответила:

– Поеду!

В тот день впервые я оценила масштаб трагедии. К одному из нужных адресов мы пробирались по гравийке вдоль реки. Русло Адагума я видела и до того – в разных частях города. Кое-где оно было обильно завалено деревьями, прочно поросло кустарником, и было понятно, почему река могла выйти из берегов, кое-где оно уже вовсю чистилось и расширялось экскаваторами.

На повороте в глубь жилой улицы мы остановились.

Речушка еле текла на дне широкого и глубокого русла. Из него высоко торчали погнутые и покореженные железные опоры пешеходного моста. Сам же мост, удержавшись одним концом за берег, лежал изогнутый на противоположной стороне реки. Было видно, что его, как шнурок, долго теплело водой.

Из ближайшего дома выскочили мальчишки, за ними – женщина лет сорока пяти. Стелла бросилась её распрашивать.

– Речку-то и цыплёнок перейдёт! Прошлым летом были сильные дожди, не чета этим. Вода поднялась почти до моста. Но даже тогда никакого наводнения не случилось. Мы всегда на реку смотрим. А ночью услышали шум воды, муж и тесть выбежали, вода была уже по щиколотку, и погнали машины на горку. Муж сразу направо повернул, а тесть гнал вдоль реки – получается, он от волны уходил. Но ничего, успел, слава богу, выскочил на горку в последний момент. Волна вышла к нам, тот-то берег высокий. А мы на чердаке спаслись, ночь там просидели. Спускали воду из водохранилища, это точно, дожди ни при чём.

Привычно ишу на стене дома отметку уровня воды. Она почти под крышей.

Люди угоняли машины, оставив дома семьи – никто не думал, что волна будет настолько высокой.

Женщина рассказывает кучу подробностей, но долго не хочет раскрывать своё имя. Боится последствий.

– У нас те, кто много говорит, уже сидят, где нужно.

По пути мы заезжаем проверить некоторые адреса. Люди часто звонят в лагерь и рассказывают про соседей, про друзей и знакомых, которым нужна помощь. Мы останавливаемся возле грязного саманного домика, в котором живёт всеми покинутая старушка. Собака беснуется за забором, но старушка на наши крики и стуки не реагирует, видимо, дома её нет, и мы идём через дорогу – там выстроен дворец, из которого выходят вполне благополучные обитатели. Под ногами хрустит засохшая муляка.

– К ней сын приехал. Вроде бы помогает.

И мы едем дальше.

– Андрей, – спрашивает Стелла нашего водителя. – Ты же местный, ты знаешь: про «магнитовские» фуры – это правда или легенда?

– Да какая легенда, – тяжело вздыхает Андрей. – Правда, конечно.

– Что за фуры? – спрашиваю я.

– Фуры магазина «Магнит». В них рефрижераторы, удобно перевозить трупы.

Трупы вывозили в другие города, местные морги не справлялись. От друга знакомых дошла закрытая информация из администрации Краснодара. По его словам, в этом городе было заказано четыре тысячи гробов для крымчан. Кроме того, постоянно натыкаюсь на рассказы местных жителей о массовых захоронениях в одной могиле и о сжигании трупов неподалёку от города. Насколько можно доверять этой информации, я не знаю. И про «сердечную недостаточность» мы слышаны вполне – именно этот диагноз ставят утонувшим людям, чтобы не платить миллионную компенсацию их семьям.

В городе расклеены объявления о пропавших в ночь наводнения детях. С фотографий глядят улыбающиеся малыши.

Вечером с Лоттой пьём заначку. Из Москвы мы привезли фляжки с водкой. Лотта рассказывает про «морскую волчицу», у которой ей довелось сегодня побывать.

– Это потрясающая женщина! Она всю жизнь работала поваром на флоте, надолго уходила в море, сейчас на пенсии. Как она про наводнение рассказывает – никакой КВН не сравнится! Очень смешно.

Мы чокаемся фляжками.

– Она ночью проснулась от того, что вода поднялась почти до кровати. Быстро схватила документы, в основном, морские удостоверения, и села ждать. Вода не останавливалась. Потом она выглянула в окно – оказалось, что всё, она в аквариуме. Ну, я, говорит, сняла внутреннюю дверь с петель, стою наготове, жду, чем всё кончится.

Кончилось тем, что вода выломала внешнюю дверь, затопила дом, а «морская волчица», рассчитав время, нырнула под косяк и на внутренней двери, как на плоту, выехала во двор. Покружила там, зацепилась за что-то и стала ждать, пока вода схлынет.

– Всем бы бабулькам такое хладнокровие! – и мы чокаемся.

– А вместе с ней спаслась змея. Она мне фотку показывала: вокруг карниза для штор обвилась и сидела, пока вода не ушла. А дети к ней отказались приехать помогать. Сказали, что заразы от муляки боятся. И к себе не зовут.

«Ёбаный стыд, – думаю я. – Ё-БА-НЫЙ СТЫД!»

Но это повсеместно. Старики – самая пострадавшая часть населения. Мне довелось услышать про парня, спасавшего парализованную мать. Он успел закинуть её на крышу, потом подошла волна, и сам он выплыть не смог. Парализованная женщина осталась одна. Стеллу судьба свела с бабушкой, у которой утонули муж, сын и собака. Женщина сидела на лавочке во дворе и глядела остановившимся взглядом на выжившую кошку.

Но рассказывают и жизнеутверждающие истории: как мать успела выхватить из кровати крохотную дочку, прежде чем дверь лопнула под напором воды и кровать перевернулась. Найти девочку в муляке было бы невозможно. Обе – и мать и дочь – спаслись. Рассказывают, как вода дошла до икон, стоящих на комод, и начала опускаться. Как три разнонаправленных волны обошли местную церковь на «Святой ручке» с трёх сторон, не задев её.

– Лотта, моя девичья честь под угрозой. Этот Дима так смотрит. Таааак смотрит! Я теряю волю!

– Он милый, – ответила Лотта. – Няшка-костыляшка. Крепитесь, Дарья, крепитесь.

Котейка

Утром ко мне подошёл мотоволонтёр и спросил, не хочу ли я поехать с ним спасать котёнка? Накануне туда же ездила Настя Топор, и я думала, что котёнок – это эвфемизм, а на самом деле надо снова что-то чистить. И согласилась. Только спросила, надевать ли сапоги? Нет, ответил мотоволонтёр, там чисто.

– А ты знаешь первое правило байкеров? – спросил меня костыляшка Дима, весело прищурясь. – Села – дала!

Я прокашлялась.

– А второе? – не унимался Дима. – Уронил – женился!

И я потуже натянула шлем.

Прежде чем тронуться, мотоволонтёр погладил меня по бедру. Я ткнула его локтём в бок. И мы поехали спасать котёнка.

В подъезде пятиэтажки, в коробке, застеленной тряпками, кошка кормила трёх полуслепых котят.

– Вот они, – сказал мотоволонтёр. – Этих мы вчера-позавчера вытащили.

Я изумилась:

– Мы что, по правде – приехали спасать котёнка?!

Он посмотрел на меня с удивлением:

– А ты думала, я тебя трахаться везу?

Такого я, конечно, не думала.

– Всё утро пищит и пищит! – горевала хозяйка квартиры, откидывая крышку подвала. – Выбраться не может.

Деревянная лестница в три ступени, вдоль цементных стен коридорчика иду полуприседью, да ещё и согнувшись. Пахнет плесенью и затхлостью. Подвальная каморка усыпана раскрошившимся цементом, в углу навалены камни. Из другого угла, из-за кирпичной кладки, доносится писк котёнка.

– Вот отсюда мы тех доставали, – мотоволонтёр посветил фонариком в узкую щель и высветил открытую баночку мясного детского питания. Потом вытащил её и радостно заявил:

– Котёнок ел! Видишь, мы специально ему оставляли!

Ел – то есть знает, как выбраться наружу, – и мы начинаем его выманывать.

– А если это не он ел? Если это крысы?

– Крысы его самого бы уже сожрали.

Мне очень жалко котейку, и через десять минут бессмысленных кис-кисов я начинаю мяукать. Котёнок усиливает голос и, кажется, приближается, но не выходит. Выломать кирпичи тоже не получается, со стороны этого подвала торчит только угол кирпичной сумки. Мы идём к соседям – в подвал за стенкой.

Он не такой дивильный, пол усыпан неровными горами битого кирпича, из разбросанных досок торчат гвозди, с потолка свисают грязные клочья паутины с высохшими трупиками пауков. Чтобы добраться до нужной нам точки, приходится ползти по-пластунски под низкими балками. Маленькая резиновая собачка валяется на моём пути, мне кажется, что это крыса, и я подпрыгиваю, как лягушка, сквозь рубашку царапая спину о балку.

– Когда я только приехал, я доской эту паутину сбивал, а то не пройти было – шторкой висела.

Мотоволонтёр – парень хоть и симпатичный, но крупный и с пупом, и мне странно видеть, что и он сумел пролезть под балками.

Непонятно, в какой точке находится котёнок, и мы выбиваем топором верхние кирпичи, чтобы лучше слышать, откуда идёт звук. Но это трудно: сверху бегают и шумят дети, приходится так напрягать уши, что в них начинается звон. Я продолжаю изображать из себя кошку, зовущую любимого сыночка ужинать. Периодически голос срывается, и мяуканье становится похожим на гортанные мартовские вопли котов. Вдруг котёнок замолкает.

– Чего это с ним? – испуганно спрашиваю я.

– Устал, наверное, – мотоволонтёр продолжает ожесточённо ковырять цемент. – Надо ещё вот этот кирпич снять...

Цемент замешан на славу – не поддаётся.

– А ты сможешь?

– Ну, не зря же я в стройбате служил?!

Кирпич шатается, как зуб, но боковой нарост цемента не даёт ему окончательно вывалиться. Я начинаю расшатывать кирпич, пытаюсь растереть им раствор. Наконец, он вываливается, и мне удаётся заглянуть внутрь кладки. В зоне обзора нет никого.

Котёнок снова начинает пищать. Звук идёт из того места, где смыкаются два подвала. Там, где были вытащены другие котята, и стоит баночка детского питания. Мы ползём туда.

– Потуши фонарик и мяучь.

Я послушно тушу фонарик и мяучу. Я охрипла и устала. Котёнок то ли не может выбраться, то ли просто издевается над нами.

– Котейка, ну выбирайся, пожалуйста, – шепчет мотоволонтёр очень ласково.

Всё без толку. Мы выходим на улицу и устраиваем перекур.

– Ну, вы же его достанете? – спрашивает хозяйка первой квартиры. – А, Лёш?

ЛЁША! Ну, конечно же, Лёша! – с облегчением думаю я. Мотоволонтёр – Лёша! Ёкарный бабай!

– Вот какую вы себе замечательную профессию выбрали, – с уважением продолжает хозяйка.
– Спасатели.

Я тронута. Я очень хочу стать настоящим спасателем.

Оказалось, в подвале мы просидели почти три часа, и Лёхе пора ехать узнавать, не подвезли ли воду для лагеря.

– Один я быстрее съезжу, – объясняет он мне. – А ты сиди и думай, что делать.

Он взгромождается на байк и уезжает.

Я сижу на асфальте, привалившись спиной к закрытой створке подъездной двери. Мыслей никаких. Солнце печёт. И рубашка, и защитные штаны покрыты слоем пота, грязи и паутины. Руки от напряжения потряхивает.

Отдохнув, вытаскиваю кошку Люську из коробки, отдираю присосавшихся к ней котят и снова лезу в подвал первой квартиры.

Люська не хочет в подвал и пытается вывернуться, но я крепко зажимаю её лапы в руках. В низкой каморке я сажусь на колени и запикиваю кошку в отверстие, где должен быть котёнок. Люська мяучит, и ответный писк котейки звучит воплем радости – на меня он реагировал не так. Я подпираю вход камнем, но через проделанные нами дыры кошка уходит к соседям.

К возвращению Лёхи план готов.

– Ты сидишь во втором подвале и следишь, чтобы она не выскочила. Я повторяю манёвр, кошка мяучит, котейка выходит на её голос.

И я снова вытаскиваю кормящую Люську из коробки.

На деле план не работает – Люська не мяучит.

Я пропикиваю её в дыру, тяну за шкурку, вцепляюсь ногтями в уши, тру мордой о кирпичи – она молчит.

– Люсенька, – молю я. – Ну помяучь!

Она молчит. Я начинаю злиться.

– Сука, – шиплю. – Ори! – и загибаю её пышный хвост так, что он почти ломается.

Люська молчит. Я бью её кулаком. Я матерюсь, как умею. Кошка не вырывается и даже не пытается меня оцарапать. Она смотрит покорным всепрощающим взглядом и молчит.

– Подожди ей хвост, – советует Лёха из соседнего подвала. – Хвост она потом залижет, а котейку спасём.

Я сомневаюсь недолго. Во мне сидит страшная злость и на Люську, не желающую доставать своего ребёнка из подвала, и на самого котейку, по вине которого мы тут торчим. Это злость от бессилия.

Шерсть на хвосте – длинная и густая – долго не подпускает пламя к коже. Воняет палёным, зажигалка раскаляется и вдруг Люська негромко мяучит. Котейка отзывается, как прежде, радостно. Кошка мяучит ещё раз, но по всему ясно, что котёнок не может выбраться из кирпичного мешка, а Люська ни в какую не желает в него лезть.

Я вытаскиваю кошку и почти швыряю её на свои колени. Одной рукой продолжаю держать Люську, другой, причудливо вывернутой, обшупываю отверстие, далеко вытягиваясь. Когда внешняя стенка подступает к плечу, я натываюсь кончиками пальцев на два кирпича. Они загромождают проход, их невозможно вытащить, но я стараюсь изо всех сил. Отталкиваю один

подальше и, подцепив двумя пальцами, медленно тяну к себе второй. Я вою от усилия, рукав рубашки рвётся и задирается, неровная поверхность царапает руку сразу со всех сторон. Кое-как достаю кирпичи и вдруг понимаю, что кошка свернулась клубком и спит на моих коленях.

Страшно ругаясь, я предлагаю засунуть её в дырку и забаррикадировать выходы с обеих сторон, а самим уйти на полчаса. Тогда ей по-любому придётся мяукать. Лёха соглашается.

Когда мы вернулись, кошка сидела у выхода из подвала, а котейка молчал.

«Задавила?» – подумалось мне. За шкирку я выкинула Люську в подъезд.

В каморке мы чувствуем себя уже почти уютно. Лёха усаживается на гору камня и прислоняется спиной к стене. Я стою на коленях и мяучу в дыру. Так, в полной темноте (мы выключили фонари, чтобы не испугать малыша светом) проходит двадцать минут.

После очередного мявканья Лёха быстро проводит рукой по моей спине. Я замолкаю и напряжённо вслушиваюсь в тишину. Но нет, котёнок молчит. Лёха опять опускает руку мне на спину, а я снова ничего не слышу.

– Что? – включаю фонарик и поворачиваюсь к нему.

– Ничего, – отвечает Лёха. – Это я приставать начинаю.

Хочется надавать ему по ушам, но я только зло цыкаю.

Достать котёнка нам не удалось.

– Вот же стерва, – делюсь я с хозяйкой. – Собственного котёнка выручать не желает! Где, блять, материнский инстинкт?

– А это не её котёнок, – говорит хозяйка. – Её котятя потонули, она после наводнения в наш подъезд пришла.

Вечером я лежу на раскладушке возле кухни. Солнце ушло за дорогу и скоро начнёт садиться. Я смотрю в небо, потом начинаю тихо реветь. Накрываю лицо кепкой, слёзы катятся на шею и заливаются в уши. Осторожно, чтобы обитатели лагеря не заметили мокрого лица, встаю и ухожу в палатку. Эти люди таскали трупы, зачем им мои переживания об измученной кошке и погибающем котёнке. Впервые за время в лагере я рыдаю – с хлюпаньем и тихим подвыванием. Впервые я обрадована, что не попала сюда в первые дни.

Потом возвращаюсь на кухню и снова ложусь на раскладушку. Зажмуриваюсь – и опять передо мной Люськин покорный взгляд.

Подсевший костыляшка Дима жизнерадостно спросил:

– Ну, чего с тобой?

А я ответила:

– Напиться бы.

И добрый Дима быстро устроил водку.

Я не помню в лагере дня без алкоголя...

Последний подвал

Водку мы пили возле палатки Димы, вчетвером с Олей и мотоволонтёром Лёхой. Точнее, все пили пиво, а я – водку. Дима незаметно гладил меня по руке, а я лежала и бессмысленно смотрела на звёзды. Алкоголь действовал усыпляюще, тихая истерика закончилась. Часа в три я поняла, что все разошлись, а Дима уполз в палатку и на зов не откликнулся. Пришлось топтать к себе.

Проснулась я от крика «Подъём!» в рупор – накануне, в целях лучшей работы лагеря, было решено устраивать общую побудку. Голова не болела, но встать я не могла. Похмелье было нео-

жиданным и неприятным. Шедший мимо Андрюха пожелал мне доброго утра, потом пригляделся и подошёл поближе. Я с трудом села.

– Что, – спросил, – встать не можешь?

Я покачала головой.

– Может, похмелиться?

Я кивнула.

Андрюха присел, поднял меня на руки и понёс к штабу – похмелять.

В штабе мне налили стаканчик коньяка и отправили завтракать. К тому времени мне казалось, что я перестала приносить пользу, и когда меня позвали в бригаду на муляку, с радостью согласилась.

Дом на узкой улочке был славным. На просторном газоне росли цветы. Стебли окружала засохшая потрескавшаяся муляка, но плитка вокруг газона – на удивление чистая. Вообще, участок опрятен так, будто наводнение досюда не дошло. Но уровень воды на стене дома свидетельствует об обратном.

– Мы ещё с прошлого наводнения – с 2002 года – знаем, что сразу надо воду расталкивать, чтоб не застаивалась, тогда и муляка с ней вместе уйдёт. К нам приходили проверять уровень затопления, а у нас во дворе уже чисто. Спрашивают: «Вас вообще топило?» – рассказывает нам Аня.

Ей тридцать лет, и она в разводе. Вместе с ней в доме живут малолетний сын, мама и старенькая бабушка, которая еле передвигается по двору.

– Вот здесь у нас стоял надувной бассейн, его волной подняло, но не унесло. И муляки внутрь не попало – вода чистой осталась. Так мы ещё неделю той водой жили.

В дом вода вошла всего на несколько сантиметров, но пол и нижние планки мебели раздулись и потрескались – придётся менять.

Самая жуть, как обычно, сидит в подвале.

– Тут всё моё приданое: техника, посуда, вещи. А седьмого была годовщина смерти деда, мы наготовили всего, накупили вина – оно в подвале лежало, гостей позвали уйму. В десять вечера отключили электричество, потом выяснилось, что по всему городу, мы дома свечки поставили, во дворе фонарики зажгли – красиво так было.

Нас приехало шестеро. Алексей – муж Лены, которая осталась за старшую после внезапно отъезда начальника лагеря Наташи. Игорь – он упорно не снимает респиратор, потому что пообещал маме – специалисту по заболеваниям лёгких. Андрей, который нашёл в гуманитарке стильную розовую рубашку от «Дольче и Габбана» и теперь всем хвастается. Чернявый Дима – милый недотёпа с фотоаппаратом, – судя по всему, очень боится кожной заразы и даже по поводу обычных белых пузырей на обгоревшей коже звонит в лагерь доктору Роме. Загадочный жилистый Ваня – он ударом ладони ломает деревянный ящик и в конце дня ни в какую не соглашается фотографироваться вместе с нами всей бригадой. Ну и я.

Мы разделяемся: кто-то наполняет вёдра, кто-то таскает их наверх.

Чернявый Дима предлагает:

– Даша, мы для тебя по половине ведра грузить будем, хорошо?

Милые вы мои! – думаю. А вслух отвечаю:

– Лучше уж я тогда грузить буду. А вы таскайте.

Первые полчаса работы меня слегка потрясывает с похмелья. От большой, совковой, лопаты я быстро устаю и, смирившись, беру маленькую, штыковую – специально для меня привезённую. Извиняюсь непонятно перед кем:

– Я всё-таки девушка...

По сырому слою муляжи прошли трещины, и сейчас она лежит красивыми глянцевыми кирпичами. Мне немного жаль нарушать эту гармонию.

– Главное, ребята, сердцем не стареть... – хрипло запекает Дольче и Габбана.

Я тут же подхватываю:

– Песню, что придумали, до конца допеть! – и допеваю песню до конца, продолжая работать. Голос срывается, когда я втыкаю лопату в грязь, и тогда я проговариваю слова ожесточённым кряхтением.

Мы поём ещё что-то, и ещё, и ещё. С песней веселее. Мокрая рубашка холодит тело, со лба течёт грязный пот. Дольче и Габбана он попадает в глаза, его руки в грязи, а мои вымыты и обработаны хлоргексидином, и я промакиваю грязь салфетками, чувствуя себя отважной медсестрой на поле боя. До обеда успеваем расчистить пол и начинаем выносить содержимое подвала. Тяжёлые вещи мне удаётся дотащить только до выхода, кто-нибудь из мальчиков в это время непременно спускается вниз и почти вырывает их у меня из рук. К нам присоединяется Аня.

– Моя бы воля, – сердито говорит она, – я бы всё повыкидывала, а подвал бы забила! Надоело каждый раз его чистить!

Повыкидывать всё не получается: старенькая Анина бабушка заняла наблюдательный пост и зорко следит за нашей работой. Аня идёт на хитрость: посуду, красивые кувшины и пустые банки с силой забрасывает в мешок и громко огорчается, когда те бьются.

Я натякаюсь на странный чан с носиком и алюминиевое корыто с трубой. Во всём этом вода, я отчерпываю её банками, прежде чем тащить наверх. Пол земляной, и если налить на него воды, то снова надо будет махать лопатой. А нам и без того приходится через каждый час собирать хлябь.

– Аня, – спрашиваю, – а что это?

Аня смущается и с застенчивой улыбкой отвечает:

– Это чачу варить...

В обеденный перерыв мы открываем консервы, привезённые с собой. Аня хочет нас покормить, но мы отказываемся – неудобно объедать хозяев. Тогда Аня бьёт по большому месту:

– Может, хоть арбуза порезать? – и я кричу «Да!», пока вежливые мальчики не успели отказать.

Аня режет его ровными квадратными дольками, сняв шкуру. Очень красиво.

– Ты повар?

– Нет, – опять смущается Аня, – у нас на Кубани все девушки так умеют.

Мы уже изрядно натоптали во дворе, когда к нам пришла белоснежная пушистая кошечка. По-хозяйски осмотрев нас, она отошла подальше и с наслаждением улеглась в грязь.

– Животные, – говорит Аня, – чувствовали. Собаки выли весь день. У соседа волкодав на забор лапами вставал и выл – невыносимо было слышать. Он его уже накормил, отвязал! А тот воет.

После перерыва мы снова лезем в подвал и снова таскаем наверх вещи. Видно, что в этом подвале не хранили про запас ненужной рухляди. К сожалению, теперь придётся выкинуть многое из нужного. По цепочке передаём наверх консервации, там Аня оббивает их сильной струёй воды из кёрхера – мини-автомойки.

– Мы до наводнения и знать не знали, что это такое – кёрхер. Их по дешёвке продавали, мы только смеялись. А как затопило, цены на них втрое подскочили. А куда денешься – надо брать. Десять лет назад руками всё отмывали, знаем, как это.

Во двор вошла молодая женщина и сказала, что идёт из суда, а там ей сообщили, что Ане нужно принести справку из ЖЭКа, справку с работы, справку от комиссии по затоплению, справку из школы, где учится ребёнок и справку из поликлиники, где он наблюдается. И ещё две каких-то справки, я не запомнила, откуда.

– Зачем это? – спросила я Аню.

– Чтобы компенсацию выплатили, – вздохнула она. – Мы-то с сыном до сих пор в Краснодаре прописаны.

В два часа к нам присоединяются наши лагерные девушки: Таня и Диана. А ещё через некоторое время во двор входит мама Ани – Татьяна Ивановна. Двор к тому времени выглядит грязным оборванцем: на брусчатке щедро натоптана грязь, обмучаженные банки, кастрюли, посуда и вёдра стоят вдоль дома и на площадке, где раньше стояли качели – их мы задвинули за сарай. Техника, лежавшая в подвале, испорчена – она свалена неаккуратной кучей. Татьяна Ивановна смотрит на своё богатство и начинает тихо плакать. Мы не утешаем.

Потом мать семейства надевает сапоги и решительно идёт в подвал. И я наглядно убеждаюсь, что остались ещё женщины в русских селеньях: тяжелейшие железные листы (полки под солёная-варенья, которые мужики снимали в паре) она вышвыривает во двор, как противни, ящики с банками, полными воды, выносит, будто подушки.

Татьяна Ивановна без тени сомнения объясняет нам, что город затопили намеренно. Её подруга работает на железной дороге и рассказывает, что движение поездов между Краснодаром и Новороссийском было остановлено тогда же, когда отключили электричество. Кроме того, из города вывезли бригады МЧС.

– Отобрали у парней телефоны, они даже родных предупредить не могли! А теперь по телеку кричат: речное цунами! Какое цунами, когда речка у нас в этой стороне, – она машет в сторону ворот, – а волна пришла с той! – и машет в противоположную.

На одном из перекуров кто-то из хозяек рассказывает нам о соседях и знакомых. Один из них – заядлый рыбак – незадолго до потопа купил надувную лодку. Жена его в июне уехала на курорт, сам же он остался ремонтировать дом. В ночь на седьмое вода поднималась неравномерно: сначала медленно на полметра, а через полчаса – резко на полтора, после чего пришла семиметровая волна.

– В этот промежуток он во двор и вышел. Смотрит: вода. Ну, он по приколу накачал лодку – новая же, не испытанная. А тут такой случай. Накачал и закинул куда-то. А потом смотрит, воды уже по горло, он кое-как в лодку запрыгнул, и нет бы – привязать! Его волной подхватило и понесло. Со всех сторон кричат: «Помогите! Помогите!», а его несёт, гребни не гребни, управлять не может, самому бы удержаться. Темень, дождь льёт. Кругом трупы плавают, детские, в основном. Он с тех пор с ума сошёл. Разговаривать не может, на бумажке писал.

Вторая история про парня, купившего машину за 800 тысяч рублей. После наводнения он возил её в Краснодар. Перевозка обошлась в 20 тысяч, за ремонт же потребовали 900. В голове у него, видимо, тоже что-то сдвинулось. По возвращении машины в Крымск он долго ходил вокруг неё, потом швырнул в лобовое стекло мобильник и куда-то ушёл.

– А я смотрю-смотрю, думаю, чего это он ходит? Машина-то на улице стоит, всё видно. Потом возвращается и начинает её бензином обливать – сжечь хотел. Тут к нему мужики подбежали, скрутили, а то, не дай бог, полыхнуло бы, а там же дети кругом бегают играют.

Спрашиваю:

– На вашей улице никто не погиб?

– Нет, – говорит Аня. – На соседней четверых увезли. Я дома была, сын прибегает, кричит: «Мама, там трупы увозят». Я вышла, а их уже погрузили, только чья-то нога через борт болтается.

Вдесятером мы работаем до вечера, и всё равно остаётся работа на завтра. На прощание хозяева накрывают для нас шикарный стол: варёная картошка, банка маринованных помидоров,

сало, свежие овощи, белое домашнее вино и чача. Мы уже не боимся муляки и, несмотря на строжайшие лагерные наказания не прикасаться к еде и фруктам, пережившим потоп, с удовольствием едим консервы из подвала – мы сами очищали эти банки. Запах чачи напоминает об утреннем похмелье, но мне кажется, что это было неделю назад, и я пью её, вкуснейшую, пятидесятиградусную, закусывая прохладными кусочками сала. Из-за дикой жары в лагере не готовят мясных блюд. Особо страждущим выдают тушёнку, которая, несмотря на «Высший сорт», наполовину состоит из жил и кожи.

Татьяна Ивановна пьёт за наших родителей, она говорит, что гордится нами, что мы вернули ей веру в молодёжь. Приглашает приезжать в гости – «дом большой, всем хватит места». Мы расстроганы и польщены. Мы работали не за благодарность, и, может быть, потому похвала приятна вдвойне.

В лагерь возвращаемся затемно. Игорь и чернявый Дима отправляются топить баню – им надо раскопегарить адскую машинку, которая греет воду, идущую в душ. Остальные разбредаются кто куда.

Мне уже трудно обходиться без иронических перепалок с костыляшкой Димой. Поэтому, наспех выслушав отчёт Лотты о пострадавших детях (к ним на детскую площадку она ездила сегодня), я тащу её на кухню. Там много людей, но Костыляшки нет.

Мы садимся на раскладушки и негромко поём.

И Дима появляется. Негодуя, что мы запели только сегодня, в то время, как он уже месяц ищет, кто тут умеет петь!

Мы поём долго, у меня не хватает времени даже выкурить сигарету. Когда я закуриваю, кто-то просит спеть «Алёшу» или «Смуглянку», и я не могу удержаться, я пою, понимая, что сигарета догорает до фильтра. Дopeваю, закуриваю новую, и всё повторяется. Дима ищет записи песен в своём телефоне и подсовывает мне с вопросом: «А эту знаешь?» – и я знаю почти каждую.

После трудового дня ломит спину, я сажусь на корточки перед Лоттой и прошу не в службу, а в дружбу помять мне плечи. Дима поднимает меня и усаживает перед собой. Он мнёт мне плечи, потом запускает руки под футболку и мнёт лопатки, потом бока и зачем-то живот. Я не протестую, я готова изобрести вечный двигатель, лишь бы этот массаж не кончался. Глядя на мою блаженную физиономию, Лотта тоже требует массажа, и мне всё-таки приходится уступить место. Судя по выражению её лица, Дима проделывает с ней всё то же самое.

Кто-то приносит траву, и мы курим её, продолжая петь.

В три часа Дима удаляется на покой со словами:

– Ну, вы заходите, если что! Можно обе...

Разумеется, мы не заходим.

Дима

Ночь я провела на раскладушке возле кухни. На соседней устроился Дольче и Габбана и долго о чём-то повествовал, так что уснула я под уютное бормотание. Через два часа меня бессовестно разбудили.

– Тут кофе привезли! – кричит мне Костыляшка. – Настоящий!

Ранним утром из Москвы вернулась группа волонтеров, они и привезли нам блага цивилизации. Странно узнавать, что в мире существуют водопровод и метро.

Я сажусь за стол, опираюсь щекой на руку и в полудрёме пытаюсь процедить кофе сквозь салфетку. Дима хохочет, глядя на меня.

На сегодня назначен переезд. Нижний лагерь отодвигается в сторону – туда, где раньше стояли военные и нацисты, – чуть ли не на километр от нашей прежней стоянки. Официально, это сделано для полного отделения от верхнего лагеря, – чтоб не путались вода, продукты, гуманитарка и люди. Я не вижу смысла в беготне, мне хочется одного – работы. Приходят начальник верхнего лагеря и доктор Рома, пытаются доказать очевидную глупость переезда, но бесполезно.

Доктора Рому я побаиваюсь – он суров и язвительен. Но мне его жаль: наши волонтеры – постоянные посетители медпункта, пол-лагеря ходит в бинтах. VIP-статусом наделена Мила – она досталась нам в наследство от съехавших националистов (были там и такие) и регулярно лечит то ногу, то руку, то глаза, то обморок. Я ни разу не видела её за работой, но уезжать в Москву она категорически отказывается. Ещё есть чернявый Дима с тепловым ударом. Луиза, у которой периодически шалят то ли сосуды, то ли сердце. Наконец, Дима-костыляшка. Всем им нужна помощь, и Роме наверняка придётся бегать туда-сюда.

– Их к вам доставлять будут, – смеётся Костыляшка. – На мотоцикл посадят – и вперёд. А мы с Луизой вообще сегодня уезжаем.

Я хватаю первое, что попадается на глаза – тяжёлую громоздкую коробку – и почти бегу к новой стоянке. Там разбирает вещи мотоволонтер Лёха. Он не оставляет попыток затащить меня в палатку, а мне приятно его упорство. Я улыбаюсь ему, но он отворачивается.

Уезжают они в Туапсе на реабилитацию – кто-то сумел пробить такую штуку для крымских волонтеров. Дима долго мечтает, как будет гулять по набережной под локоток с Луизой – и в шляпе. Я представляю, как Дима на костылях ведёт Луизу под руку – и хмыкаю. Луиза очень красивая и странная. Даже в самую жару она продолжает ходить в джинсах и тёплой рубашке, разговаривает с улыбкой, но редко и отрывисто – будто смущаясь. И почти не снимает солнцезащитных очков.

До полудня мы таскаем коробки с вещами, как трудолюбивые муравьи. Дорога не протоптана, я постоянно натыкаюсь на колочки и загоняю в ноги занозы пересохшей твёрдой травой.

Возвращаясь, мы с Дольче и Габбаной оглушительно красиво поём «Вальс-бостон», и все лобуются нами.

– Вот я вам какой голосище нашёл! – хвалится Дима. – Будет петь по вечерам.

– А в лагерь вы вернётесь?

– Вряд ли, – отвечает он. – Оттуда, скорее всего, в Москву.

Лотте надоело метаться по городу, и она просит взять её с собой на муляку. Состав бригады меняется: Таня с Дианой уходят на другой объект, чернявый Дима болеет, Алексей берёт на себя роль повара. Надо сказать, вовремя, ибо к тому моменту нам уже в печёнках сидит детское питание, на которое перешёл лагерь после отъезда повара Алёны.

Да, детское питание. Мы с Лоттой разбирали и сортировали коробки со смесями, кашками и порешками – по возрасту и названию. Сухим смесям вряд ли что грозило, а вот мясные баночки уже было опасно давать детям – на солнцепёке (хоть и в шатре) они пролежали больше недели. И мы перевели «Тём» и «Агуш» в лагерную продуктовую корзину. Мы ели их на завтрак, обед и ужин. Мы кормили ими прижившихся в лагере котят. Мы брали их с собой на муляку. Мы даже в поезд прихватили по баночке.

В Москве, прогуливаясь по супермаркету, я наткнулась на стенд с детским питанием и неожиданно разревелась. Проходившие мимо люди глядели на меня с опаской и сочувствием.

Машин в тот день нет, нам приходится идти на маршрутку. Оглядываюсь: Дима машет и показывает язык. Заросший бородой, синеглазый и одноногий, издали он похож на благородного пирата. Я смеюсь и отвечаю тем же. Нет сил отвернуться, и некоторое время я шагаю задом наперёд.

– Лотта, поедимте в Анапу дня на три?

До Анапы чуть больше пятидесяти километров, и там живёт наша общая подруга.

– Поедемте, – Лотта глядит с пониманием.

– Сегодня же!

– Не печальтесь, Дарья, – отвечает мне Лотта. – Ведь будет же в Москве какая-нибудь общая встреча. Ещё увидите.

– Бросьте... – говорю я хмуро.

Подвал в тот день дочитаем быстро и без песен. Татьяны Ивановны дома нет – её не отпустили с работы, у Ани закончился отпуск, но она взяла больничный и с утра отмывает вещи из подвала. От воды газон раскис, а земля в подвале за ночь, наоборот, подсохла.

– Муляка – это местное слово. Не просто ил, а что-то вроде осадка. Вот в вине осадок – он тоже мулякой называется.

– Всё, – шутим мы, – переходим на водку!

В середине дня расстаёмся: бригада отправляется на новый объект, а мы с Лоттой – на автовокзал. На прощание мальчики пытаются скормить нам собственный обед, и мы еле убеждаем их этого не делать – нас покормят в лагере, а им ещё работать.

Автовокзал находится в низине, вплотную к реке Адагум. Внутри – покалеченные сидухи, сваленные у стенки, разломанная раковина в боковой комнатке, разбитые окна. После солнечной улицы хрустящие ломтики муляки в темноте кажутся мне брусчаткой. Кассир сидит в уличной будке, похожей на продуктовый ларёк. Мы берём билеты на вечер и возвращаемся в лагерь – укладывать вещи и собирать палатку.

Там пусто и скучно.

Спальники относим в верхний лагерь, возле склада из наших рук их перехватывает доктор Рома.

– Извини, – говорит он мне, – я тебя за грудь задел.

– Нет, – отвечаю, – это был живот.

– Чёрт, – показательно огорчается Рома. – Промахнулся!

«Вот, – думаю, – и нашему суровому Айболиту напекло».

Билеты в Москву у нас на вечер шестого августа из Крымска, поэтому большую часть вещей мы оставляем в лагере. Мы складываем их в огромный чёрный пакет и приклеиваем надпись «Личные вещи» – чтоб не увезли кому-нибудь в качестве гуманитарки.

Мы едем на море. Мы мечтаем, как вычистим грязь из-под ногтей, выровняем «волонтёрский» загар, впервые за десять дней расчешем волосы и потрём пятки пемзой. Мы будем спать на кроватях и есть домашнюю еду.

«И гадить сидя!» – торжествует кто-то в моей голове. Ну, да, и это тоже.

Отъезд

Три дня спустя перед нами разорённое гнездо и масса информации.

На входе в лагерь нас встречает Сергей – он из тех, кто вернулся из Москвы в день нашего отъезда в Анапу, мы не знакомы, но всё равно радуемся друг другу, как родные.

В автобусе мы не выспались и в шесть утра ещё имеем возможность уснуть – на улице прохладно, но Сергей рассказывает нам события прошедших дней, и мы не в силах уйти.

В лагерь привозили барана, но поскольку никто не решался его резать, пришлось вернуть животное хозяину. По слухам, через некоторое время баран вернулся в виде жаркого.

Ещё был надувной бассейн, в котором все купались, из-за нехватки воды его пришлось сдуть.

Какой-то умник накрыл одеялом работающий генератор, и, разумеется, он перегорел.

Неясно, занимается ли кто-то работой. Плюс какие-то дразги и ссоры, пьянка и разбросанный мусор.

Серёга не сплетничает, он вводит нас в курс дела.

– А ещё, – говорит он, – я пытался перенести биотуалет. Подошёл, решил взвесить. Поднимаю, а изнутри – дикий вопль! Катюшка там сидела.

И мы ржём, как кони.

В восемь мы попытались уйти спать и провалялись в духоте до десяти. Потом встали.

На кухонном столе в беспорядке валялись обгрызенный хлеб, тарелки с протухшим мясом, пустые консервные банки, баночки с недоеденным детским питанием, переполненная пепельница, бумажные и пластиковые стаканчики с недопитым чаем, колода карт, хлоргексидин и скисшие помидоры. На самодельной скатерти – грязные пятна. На земле у стола – окурки и бумажки. И тучи мух вокруг.

На длинной лавке возле стола сидит котёнок Тёма Фрейд. Тёма – в честь детского питания, почему Фрейд – я не знаю. У него очень худые лапы и упругий шарик вместо живота. В лагерь его притащила Мила и подарила мотоволонтеру Лёхе – может, потому и Фрейд. Мне до сих пор трудно понять отношения Лёхи и Милы, но к Тёме мотоволонтер привязался настолько, что забрал его жить к себе в палатку. Сейчас котёнок разомлел от жары и даже не пытается ловить мух.

Молча начинаю собирать мусор. Ко мне присоединяется Лотта – и через полчаса остаётся только разобраться с переполненными мусорками – в картонные коробки вставлены пакеты, но они соскочили с краёв, и народ, ничтоже сумняшеся, бросает мусор сверху – прямо в коробку. Расправляю, собираю. Вытащить пакет я уже не в состоянии и дико ору на мужиков, которые, не обращая на меня внимания, квасят под соседним навесом. Мотоволонтер Лёха приходит на помощь, остальные, похоже, даже не слышат.

За месяц в Крымске все устали, всем хочется расслабиться.

Много позже к столу подходит начальник лагеря Лена.

– Что-то грязно тут у вас, – говорит она.

– Как – грязно, Лена? – недоумевает Мила. – Мы же прибрались!

Милу к тому времени хотят выгонять из лагеря.

– Даша, а ты что думаешь?! – восклицает она.

Я вспоминаю грязный стол, мне хочется завопить: «Вооон!», но я беру себя в руки и говорю какую-то блудливую речь.

На море я ещё сильнее натёрла ноги, в ранки попала зараза, и мы с Лоттой (чтоб мне не было так страшно) отправляемся в медпункт.

Там сидит Юлия. Она улыбается, по-детски надувает пухлые щёки и губы, как будто решает в уме задачу, говорит, чтоб я не боялась, резать не придётся, обрабатывает мне ноги и сообщает, что нужно ждать мазь Вишневского, её в обед привезут. Лотта чуть ли не силком заставляя меня надеть её шлёпанцы – у неё большой размер и, перебинтованная, я могу влезть только в них.

На обратном пути нас ловит начальство верхнего лагеря. Они по сей день уверены, что мы с Лоттой относимся к ним. Не протестуя, мы отправляемся на склад – обрезанными пластиковыми бутылками фасовать из больших мешков сахар, крупы и макароны по килограмму.

Я не знаю, сколько весит килограмм и насыпаю то полкило, то три. Не беда. Ещё я не совсем понимаю, зачем нужна гуманитарная помощь через месяц после наводнения: магазины открыты, полевые кухни работают, первоначальные компенсации более или менее выплачивают.

Я сижу на сахаре, и вскоре меня окружает стая мух. Они пытаются сесть на спину и ноги, я ругаюсь, шлёпаю их сахарными ладонями – и они летят настойчивее.

Юля только что сделала перевязку, и до прибытия мази Вишневого мне не стоит принимать душ.
– Лотта, – ною я, – можете?

Мы набираем ведро воды и топает в банную палатку. Там душно и прыгает лягушка. Но мне плевать. Я раздеваюсь, мою своей же майкой грудь и живот, потом встаю на локти и колени, задрал стопы вверх, и спину мне протирает Лотта. Кое-как счищаем с меня сахар. На фасовку мы не возвращаемся.

– А котёнка нашего вытащили, – сообщает мне мотоволонтёр. – Мужик пришёл, разбомбил стену и вытащил. Каптёр его прозвали.

Я безмерно рада за котёнка.

– Лёха, – говорю, – а прокати меня напоследок вокруг лагеря?

От кухни доносится чей-то хохот:

– А ты знаешь первое правило байкеров?

– А на спор, уронит? – кричу я в ответ.

Лёха не уронил. У него спустило заднее колесо. Кое-как мы доезжаем до лагеря.

– Ну, пошли, – говорит Лёха.

– Куда? – настораживаюсь я.

– В палатку. Теперь ты просто обязана мне дать. Ты мне колесо спустила!

Я смеюсь и целую его в щёку, а Лёха злится.

Работать перед отъездом неохота, и я усаживаюсь возле пьющих мужиков.

Подходит Саша – восьмилетний сын Лены.

– Вы не видели карты? – робко спрашивает он. – На столе лежали.

Мне стыдно признаться, что я их выкинула вместе с мусором, и я молчу. Огорчённый Саша уходит.

Я предлагаю свою помощь в починке байка, но Лёха смотрит на меня волком. Потом пытается поднять меня на руки и уволочь в палатку, я так вцепляюсь в раскладушку, что он не может меня оторвать.

– А я её поднимал! – гордо заявляет идущий мимо Андрюха.

– Юля! – говорю я возле медпункта. – Ну, где логика?

Вместе с Юлей сидят молодые менты, и я откровенно красуюсь напоследок.

– Он расстроен, – отвечает мне один из них. – Вот тебе и логика. Если ты ему дашь, он воодушевится и займётся ремонтом.

Мы с Юлей понимающе переглядываемся. Мы нащупали грань между мужской и женской логикой.

– Доброго пути, – говорит она. – Мы тут до конца будем.

Вскоре верхний лагерь снял отдельный дом и полным составом перебрался жить в него. Наши медики примкнули к городским учреждениям.

Я не знаю, кто такой «старшина», но он – пожилой кавказец – приезжал в лагерь за кастрюлей и о чём-то долго разговаривал с Лёхой. Я лежу на пенке за палатками и дремлю. На меня обрушивается поток воды. Это приятно, но неожиданно. Медленно очухиваясь, сажусь, достаю из кармана и отбрасываю подальше мобильник. Вода продолжает литься. Лёха держит надо мною пятилитровую баклажку.

– Старшина сказал: «Бери её силой и увози!» – вот увидишь, так и будет!

Поезд в семь, а в шесть приходит машина. Мне жаль Лёху, он разобитый и милый. Я подхожу, чмокаю его в губы, отбегаю и тащу к машине какой-то мешок. Лёха нагоняет меня и спрашивает, что это было.

- Выражение искренней симпатии, – отвечаю я.
- А давай ещё раз? – Лёха смотрит, как котёнок Тёма Фрейд.
- А давай!

Мы ещё раз чокаемся, чуть дольше, и после этого он начинает звать меня солнышком и тащить вместо меня тяжести к машине.

Когда мы уже сели, я поняла, что держу в руках стаканчик, из которого пили коньяк на пошоках.

- Лёшааа! Лёшенька! – зову я, и он бежит со всех ног.
- Что? – его радостное лицо не помещается в окно.
- Выброси стаканчик, пожалуйста!

Он матерится, но покорно несёт стаканчик к урне. Через несколько минут возвращается с котёнком Тёмой Фрейдом и протягивает его мне.

- Возьми с собой? Он хороший.
- Мне некуда, – честно отвечаю я. – Мне и самой-то жить негде.
- Наклонись! – кричит Лотта. – Я вас фотографирую!

Водитель трогается, но Лотта всё же успевает сделать фото. Мы выезжаем на дорогу к верхнему лагерю. В заднее окно я вижу, как Лёха с котёнком на руках отходит от дороги. Я вижу кухню и людей возле неё, я ко всем отношусь по-разному, но сейчас мы с ними расстанемся – я не хочу реветь, это вовсе ни к чему, но поневоле начинаю.

На вокзале я бегу к магазину и на последние деньги покупаю коньяк.

Нас едет целая толпа – восемь человек в двух купе с кондиционерами. Это царский подарок: мы привыкли к жаре, привыкли спать на земле, ничего не есть, пить спирт и курить всё, что дышит. Мы везём с собой крымские сувениры: обмученную обувь и одежду, мозоли, часы с пропавшими грязными ремешками, детское питание и хлоргексидин – теперь нам страшно выйти из дома без него. Мы пьём коньяк и до поздней ночи поём детские песенки.

Мне тепло и уютно с этими людьми – кем бы они ни оказались в реальной жизни, сейчас они те, кто знает правду и не даст её заврать.

- Лотта, – говорю я нетрезвым голосом, прежде чем провалиться в темноту, – а правда, мы – хорошие люди?
- Засыпайте... – смеётся Лотта и гладит меня по голове.

Дмитрий ЧЕРНЫШЕВ

Это кем-то наведённый морок...
Это не лес Мюрквид, а парк в окрестностях Петербурга!
...За полчаса доведу тебя до вокзала.
Ну и что, что мы идём целый месяц?
Вот и опять Малый Каприз, вот Крестовый мостик...

...
Нет! Это не рог Дикой охоты!
Остановись!
Это – гудок электрички.

Не убегай, от неё
никогда
не убежать.

Ор. № 11.208 «Конstellация»

позавчера, или третьего дня
был лёт ... подёнок
ночью, у нас, на берегу Залива

а под фонарями – паутины.

под моими камерами, на всех экранах было одно и то же,
и я вышел.

это так странно: будто разодранное кружево «ришелье»
эти лоскутья – ослепительно белые бабочки,
бьющиеся

вспомнилось, как только что, на Канонерском, на фестивале
изумительно голонога была Катя

«длинноляга» ... я чуть не влюбился

Дмитрий Чернышев родился в 1963 году в верховьях реки Зeya, живёт в Санкт-Петербурге. Публиковался в журналах «Арион», «Воздух», «День и Ночь», «Дети Ра», «Звезда Востока», «Зинзивер», «Крещатик», «Литературная учеба», «Мулета», «Черновик», различных сборниках и антологиях. Автор четырёх книг стихов, множества статей и эссе; верлибры переведены на итальянский, немецкий, финский и французский языки. Редактор санкт-петербургского иррегулярного поэтического альманаха «Сорокопут».

а ведь однажды всё это уже было

только не помню я этот перевод, то ли Долинин,
то ли Барабтарло,
может быть, не «длинноляга», а «долголяга».

Morgenstern

(утреннее размышление о вреде компаративистики)

Окровенной челюстью утра
зацеплено небо.
Арбузные ломтики рассвета — пахнут рыбой.
...Спрашивается,
ну и как мне
 после всего этого
«купать нагую грудь в лучах зари»?

Эпизод XI: «в камышах»

Олесе Первушиной

1.
Слушай, ведь это тебя я учил спать на животе,
чтобы голод так не томил?
Это ты принесла дохлую мышь,
поделиться,
не съела тайком....
С тех пор верю!

2.
Но, если пятка вдруг стеклом холодеет,
это значит, я стал
целью Париса.

3.
Лезвием острым срежь пять тростинок,
воском медовым и прядью волос скрепи...
и настрой мне лидийскую гамму.

как Павсаний
пойду по Греции,
спасаться от бога

Офелия - Орфей

Олесе Первушиной

«Плыла и пела,
пела и плыла...»
оторванная голова Орфея.

Бурые кровянистые пузыри из ноздрей.

Ты помнишь название реки?

Нет.

И я не помню.

радужная плёнка
не
произнести имя, нет трахеи, язык...

помавая ушами, гребя ушами,
плывёт
Офелия, дохлая нимфа

Эпизод XIX: Учитель

Дарье Симоновой

Это так просто, девочка, так просто!
Надо только найти шёлку в этой ограде.
...Или сделать.
Процарапать камешком или веткой, или ногтями.

...Год за годом я слышу, как ты скребёшься,
пальцы окрепли.
Я верю в тебя, девочка,
ты только, давай, не останавливайся,
ца-рапай!

Возвращение из Москвы 7

Д. С.

...копфцангель – загадочное железнодорожное слово
из полузабытого романа, то ли «Между собакой и волком», то ли из «Машеньки».
Состав тормозит, на какое-то мгновение вагоны сдвигаются,
копфцангели звякают, лязг, скрежет, лёгкий запах гари...
Стоп. Приехали!

Ты спускаешься на перрон, бледная после бессонной ночи,
растрёпанная, лицо – одни глаза.
Озираешься.
Нет, слава Богу, никто не встречает, меня рядом нет.
Только в замёрзшей луже моё отражение,
да полуразмытая тень осталась на вокзальной стене.
Вздых облегчения.
И тут ветер с залива целует тебя, как дуновение боли.
Внезапно всё вокруг теряет резкость, очертания расплываются,
отблески, блики, рефлекссы.
Ой! ...прошло.
Ты взваливаешь на плечо свой неподъёмный багаж.

Стоп. Снято!

(это из позапрошлого века, Люмьер – Люмьеру)

Нет! Всё не тогда и не так.
Я обязательно должен быть в этом кадре.
Ещё один дубль
«Прибытие поезда».

Русская народная песня

– Без тебя постелюшка холодна,
Адеялушка заиндивело.

– Хочешь, я тебя согрею?

Запись сделана П.И.Якушкиным в августе 1846-го,
см. ГИМ, ф. 56, п. 44а, Л. 15 об.

Ответ получен в мае 2010-го.

Александр ПЕТРУШКИН

Энтомология

Дмитрию Машарыгину

Расчѣсывая губы до крови,
пустив царапины [как бабочек по свету
латать тот свет слюной] здесь – оборви
и Съ слетит и крови узкой нету.

Да, эта бабочка сегодня хороша –
лежит под золотистой молчанья
[почти нирваной] коркой у соска,
у тёмного чукотского камлання.

Расчѣсывая губы, как обман, как кокон
страха расплыв отчизну, могилы
[улыбаясь мило нам] кивают жизнью
из своей чернильной

[расчѣсанной сверчками до земли]
светящейся воды – пока открытой,
как молоко у матери в груди
кровоточит из ДНК на тритий.

Расчѣсывая слюни по слогам
(здесь было что сказать – хотя и мало,
что вероятно, Бог – не быстр, а я –
хотя бы смертен [с самого начала].

Расчѣсывая воздух до себя,
дощатый бог лежит, опилом дышит
сосновым – воли нет не у меня, а у него
[что ж, не расслышит,

он это, перейдя на ультразвук и сленг] –
латает бабочка его тугие уши
и переходит из хитина в снег
[и здесь перестает он вовсе слушать].

Александр Петрушкин родился в 1972 году в Челябинске, с 2006 года живет в Кыштыме. Куратор евразийского журнального портала «Мегалит», главный редактор литературного журнала «Новая реальность». Публиковался в журналах «Знамя», «Воздух», «Волга», «Уральская новь», «Урал», «Крещатик», «День и ночь», «Дети Ра», «Нева», в сетевом журнале «TextOnly», «Антологии современной уральской поэзии: 1997–2003» (под редакцией Виталия Кальпиди) и др. Автор книг «(В)водный ангел» (2005), «Анатомия» (2006), «Я полагаю что молчанья нет» (2007), «Кыштым: избранные стихотворения 1999–2008 годов», «Пойми, никто не виноват» (2010), «Маргиналии» (2011).

У бабочки с судьбой глубинных рыб,
прижатой белой атмосферой к року:
в нутре кровоточивом бог дрожит,
пытает медленно, чтоб выбрала дорогу.

2012

Какой-нибудь мудака сквозной
рисует мёртвое «бе-бе»,
и белый свет как столб стоит,
Рязань играет на трубе.

Ефрейтор тянет разговор,
чтобы не знать кромешный стыд,
и это всё не от того, что
надо что-то говорить –

он просто так ко мне привык,
что видит в зеркале меня –
перегорают жалость. С плеч
глазает поперёк огня

всё тот же мой мудака родной
прибереги меня в себе,
как несуразный свой язык
перебирающий «бе-бе».

И отрыдает в нас Рязань,
и оторвёт билетик нам
кондуктор с дыркой в руке,
несущий нас к своим корням –

перебирающий здесь звук
бессвязный – как и должно быть –
язык мудрой и бог родной
что приучил так говорить.

2012

во как снится эта [трасса]
бог стоит посередине
из асфальта и из [спаса

из] ещё нетвёрдых линий
транспортного коноста
он почти что не [оформлен]
как цивирк как птичий клёкот
под крылом [до перелома]
кровь горит из поворота
говорит [договорится]
этой трассы середина
бог стоит [да бог с другими]
из укропа или тмина
он растёт [языкового]
и фиксирует на камне
не себя [того – другого]
потому что очень занят
он проходим [убываньем]
в смысле и в значенье скоро
грохот этому [настанет]
бог нас видит из азора

2010

Летающий пёс. Стихотворение для старшей дочери

Проговориться с этим [на огне
сидящим] псом – заморенным, ленивым,
скрипящим словом: а) откроешь дверь
б) утром просыпаешься не с дивой,
не с девой в) лопочешь на своей
пифагорейской олбани в оправе
ц) слушаешь, как сторож долбит в смерть
стеклянную железкой д) он вправе
сегодня проживать её со мной –
е) сомневаться в ней, как в речи. Слушай
всегдашний [захромавший в цифре] год.
Проговорился всё ж, урод? – задушит
тебя/меня язык родной страны –
порхай среди цветов, обозначений, званий,
летающий пёс – глазами со стороны,
как стороны текут из тёмных зданий,

как немота уходит через руки,
как суки, здесь выстраивая ад
логарифмический [как хромосомы жуткий]
царапают глаза, сто лет наград
не требуя, как зацветут жасмины
[в соцветии у каждого спит пёс –
две головы которого в режиме
портвейного Харона]. Как вопрос –

так в нас щенок со стороны Аида
заглядывает, и его слону
со лба стираешь ластиком дебильным.
Обняв его огромную страну,

проговоривши мёртвым языком –
я тридцать два часа сидел в конверте
[в последней номерной Караганде]
и наблюдал, как пёс рисует петли,
царапает над огородом смерть,
что проросла за стрёмное наречье,
как дочь моя шестнадцать лет назад,
чтоб всё простить однажды, изувечив.
Чтоб всё понять, однажды не простив,
резиновые реки поднебесной
плывут сквозь пса, раскрыв больные рты
от этой ереси (не потому что честной –
а потому что спит ещё Харон
и потому что стук пифагорейский
несёт на ржавой палочке Орфей
и учит пса портвейном здесь [в Копейске])

стучаться в тьму то лапой, то крылами
на сто семнадцать метров в высоту,
и всё испить холодными глазами
и выблевать однажды в пустоту,
и выблевать свой шерстяной, как кокон
открывшийся, как неродную речь,
пифагорейский, сказанный, смолчавший
и полететь от дочери за дверь).
За Пушкина [уральского кретина],
за всё молчание меж дочерью и мной
простив меня, скрипит в щенке дрезина
и гонит под урановой дугой.

2012

Мои похороны (песенка)

Наташе

о чем пропела песенку ты богу
очёртичо напишешь мне в подмогу
напишешь сдуру старосте письмо
в деревне всё как прежде в молоко
и свысока на нас взирают боги
остановившись в небе у дороги
стрекочущие два аэроплана

сканируют всю местность – этот сканер
остановить поможет чёртичо
но как легко ты пела как легко
шагала по букварному положу
спуская слово как колени к богу
и обезножена летела а не шла
хранила коготками комара
сканируя за помощь этой почвы
о песенка о женщина моя
о торфяное чудо для огня
о песенка ты чёрти чо и как же
тебя когда никто уже не скажет
не пропоёт

ты будешь без меня

2011

Ну что закончилось в тебе? Наверное, слоны,
Наверное, чужие эпилоги, Наверно, пионерские сыны..
– страна тебя за всё благодарит, уходит.
Страна не ходит [только в полстраны
Наполовину странная читает,
не дружит с полумертвой головой].
Мой друг, что до страны – то с ней до края,

до буя мне моя же темнота, и планы ГОЭЛРО –
Как бритва в горле течет нетерпеливая река
Давай, мой друг, мы наконец умолкнем
Пересчитаемдохлых голоса
Друзей преумножающих тревогу
Наверное, такая полоса –
Прокладывать утратами
Дорогу

Ну что закончилось в тебе? Наверно, высота,
Наверное, чужое, и пустой ты
Стоишь у переноса, видишь тело
Нелепо заливает подворотни.
Нелепая и добрая, как смерть,
Стоит и держит нас между коленей,
Страна отсюда дольше, чем видна
Да только кто тебе и ей поверит.

2010

Арсений ЛИ

И морось, и запах влаги, и мыльный дым,
стелящийся над заливом пепельно-голубым...
Отечество дымкой подёрнуто и уплывает вдаль.
Жаль отечества, осени жалко, себя не жаль.

Что же залив? – навсегда останется голубым.
Дым рассеется и превратится в дым
памяти. Чайка закладывает дугу.
Мы затеряемся на берегу.

I.

Кто придумал в чернила
вливать молоко по ножу? –
торопливый восход я на пирсе с тобой подожду,
цокнет рында, как в вату, туман подымается, лодки бубнят,
рыба дремлет в пучине, тяжёлый блестит виноград.

2.

Плачь, Психея, слюнявый девчоночий рот разевай до ушей, город детских мечтаний и взрослых забот, крепдешинный ветер, прошей. Сумасшествуй, осенняя музыка, жги неопасный огонь. Упадай, голова воспалённая, на ледяную ладонь. Изнурительна детская-детская глупая связь, лето кончилось. Сказка закончилась. Оборвалась.

Руки задержались сами собой,
заходили ноги, голова покатилась с плеч
проваливаясь в полудрёму.
С ужасом чувствуешь эту невнятную речь –
туловища оставленного без присмотра.
Так же умрёшь насовсем?

Арсений Ли родился в 1977 году в Ленинграде. Окончил биофак УрГУ им. А.М. Горького. Поэт, дизайнер, один из основателей российского поэтического товарищества «Сибирский тракт». Публиковался в журналах «Арион», «Волга», «Урал». В настоящее время живет в Москве.

Господи, ото сна восставь меня.
Десять, девять, восемь.

Алле Поспеловой

Тихо колокол бьёт, тихо плещет ночная вода.
Посмотри в черноту отражения старого пирса –
Это мелочь блестит или первая всходит звезда?
Посиди со мной рядом, пускай ничего не случится.
Вообще ничего, только колокол, только вода,
очертания, тени, а с чёрного дна невесома
одинокая всходит и всходит, и всходит звезда,
и шуршит виноград на обширной террасе у дома.

Пахнет мочой и мёдом на старом колхозном рынке.
Басмачи с бензокосами бреют газоны Стромьинки.
Вольно мне рифмовать полуботинки-ботинки.

Девушка злая ушла, не сказав ни слова.
Я шнурую Кензо, рифма приходит снова.
– Счастья тебе, любимая, – на физии полшестого.

Где же наркотики-рокенрол и прочие сласти
Самогубительства? Боже, какие напасти!
Боже, какие мы нежные, но в нашей власти
строфу удлинить, слёзки вытереть и следующей сказать – здрасте.

Александр ДЪЯЧКОВ

1.
Детский дворик похож на пустыню,
перебиты качели.
Вот ступает мужик еле-еле,
ему двинули в «дыню».

Вот лежат у проезжей дороги
два живых человека:
он безногий убогий калека
и она – его ноги.

2.
Выхлопная труба вертикально –
это серый уральский завод.
Выхлопная же горизонтально –
это мимо машина идёт.

Собрались ребятишки в подвале.
Валентин «пластилина» принёс...
Выхлопная по диагонали –
другу друг запустил «паровоз».

...Поются «иже херувимы»,
по кругу медленно кадят.
И словно тройка едет мимо,
на ней бубенчики звенят.

И я лечу, лечу на волю,
я весь наполнен чем-то новым.
...Конструктивистский ЛЭП над полем,
как будто Бродский над Рубцовым...

Александр Дьячков родился в 1982 году в Усть-Каменогорске (Казахская ССР, сейчас Казахстан). В 1995 году семья переехала на Урал, в Екатеринбург. Окончил ЕГТИ и Литинститут им. Горького в Москве. Публиковался в журналах «Урал», «Арион», «День и ночь», «Сибирские огни». Автор двух поэтических сборников. Участник литературной группы «Разговор». Живёт и работает преподавателем в Екатеринбурге.

Очнусь, а песнопенье спето,
на уголке иконы лучик,
как траурная лента света,
как символ веры самый лучший.

Слева шумит водичка,
справа идёт электричка,
сверху гудит самолёт.
Прямо – поёт птичка,
сзади – другая поёт.

Сижу, как бывший звукарь,
восхищён «панорамой».
Дитя восхищается мамой.
Творцом восхищается тварь.

Чтобы дойти до природы,
надо пройти над помойкой.
Там, где сточные воды
граничат с бессмысленной стройкой.

Мимо шины, ботинка,
сломанного девайса...
Там будет одна тропинка,
иди и не сомневайся.

ЛЭПов бетонные шпажки
всажены в русское поле.
А в небе летают пташки,
а под ногами букашки.
Я сентиментальным стал что ли?

Видишь, идёт электричка.
Слышишь, звонит колокольня.
Будет, сперва, не привычно,
что больше тебе не больно.

Тёплое чувство свободы
радостной, истинной, стойкой.
Я прошёл над помойкой.
Я дошёл до природы.

Фонарики, как мыльные пузырики.
Подуешь – и по ветру улетят.
Я не силен в романтике и лирике,
но жизнь прекрасна, пусть и невпопад.

Сирень вскипела, яблоня кипит
и шишка на асфальте, как граната,
что разрываться начала когда-то
и вот теперь на паузе стоит.

Ржавая рожь. Дождь.
Перрон. Тополя в гольфах извести.
Всю жизнь мы искали Истину,
а упирались в ложь.

Но сколько б Её ни искал,
без Бога найдёшь Её вряд ли.
Бетонные бледные вафли
на крабовых палочках шпал.

Собаки скрутились в улитки
и греются на мостовой.
Люди идут без улыбки.
Я сам был раньше такой.

Им грустно. В такие моменты
нам фонари, сгоряча,
напоминают инструменты
в кабинете зубного врача.

Склады, заборы, серые дома,
шум улицы, чужие разговоры.
ДК – налево, а правей – тюрьма,
шараги, офисы, конторы...

Остатки снега, вылезший газон,
на частном доме ставни голубые.
Наивными глазами смотрит он
на Вью – производственный район.
Привет, старик! Ну, как живёшь на Вые?

Весенний дух бодрит, как нашатырь.
Перехожу по старой, стёртой «зебре».
Навстречу вырастает монастырь,
за ним пустырь и небольшие дебри.

И непонятно то ли это сквер,
ничейный сад или огрызок бора?
Там вечно кто-то курит, например,
охранник или певчие из хора.

Когда-то, десять лет тому назад,
я здесь ходил на исповедь впервые.
...Как много перевёрнутых лопат –
дорожных знаков, будто штыковые
они вдоль по обочинам торчат...

Я думаю про ставни голубые.

Михаил ОКУНЬ

КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ

Рассказ

Очередной антиалкогольной кампании посвящается

Дело было обычное, простое: мы стояли у кустов на стадиончике и выпивали.

Такие стадиончики когда-то были понатыканы во всех новых районах. Кочковатое футбольное поле, баскетбольная площадка – в лучшем случае с кольцами без сеток, в худшем – с напрочь выломанными кольцами. Два железных столба по обе стороны волейбольного поля. Ржавые турники и брусья. В общем, физкультура – в массы. Как тут не вспомнить о площадках для игры в мяч древних майя и о том, что после игры в жертву богам приносились и побеждённые, и победители...

Теперь на месте почти всех этих «Авангардов» и «Металлистов» торчат поставленные на попá параллелепипеды новых домов. Уплотнительная застройка.

Мы – это три инженера научно-технического отдела КБ радиозавода «Россия». Этого завода нынче уже нет, хоть и числился его основной корпус красного кирпича «памятником промышленной архитектуры». Не спасло, однако, – снесли.

А когда-то это здание, стоявшее на берегу Невы, почтительно смотрело на другой берег, на пышно вознёсшийся бело-голубой Смольный собор, рядом с которым проглядывал сквозь густую зелень бывший институт благородных девиц, впоследствии ставший «штабом революции». Позже штаб естественным образом преобразовался в горком победившей партии. Высокое партийное руководство, таким образом, находилось в пределах протяженности взгляда заводского начальства.

В проходной завода стояла квадратная колонна с нишей, закрытой металлической пластиной. Надпись на ней гласила, что в нише хранится капсула с посланием потомкам, заложенная комсомольцами завода в год пятидесятилетия советской власти, в 1967 году. А вскрыть тайничок надлежит аккурат в 2017-м, на столетие вдвое посолднейшей юбилярши. То есть этот срок был как бы само собой разумеющимся – «не вопрос», как нынче выражаются. Впрочем, почему бы и нет? – нефти под Россией до сих пор немеряно, вполне хватит на дальнейшее благополучное существование новых разновидностей отечественной власти.

Однако наша «Россия», не дотянув до юбилея с десяток лет, уступила место прогрессивным изменениям на набережной. А куда делась капсула с посланием, и что такого важного сообщалось в нем потомкам, неведомо.

Кроме записочки, адресованной комсомольцам двадцать первого века – а таковых народилось уже немало, ибо левая идея стала, похоже, хронической болезнью для родины, – много чего

Михаил Окунь родился в 1951 году в Ленинграде. Окончил ЛЭТИ им. В.И.Ульянова (Ленина). Работал радиоинженером, литературным консультантом в ленинградской писательской организации СП СССР, редактором. Автор семи сборников стихов и двух книг прозы. Публикации в журналах «Волга», «Звезда», «Урал», «Нева», «Крещатик», «Интерпоэзия», «Зинзивер», а также в альманахах, антологиях в России, Германии, США, Финляндии. Лауреат премии журнала «Урал» (2006) в номинации «Поэзия». Золотая медаль конкурса «Лучшая книга года – 2010» (Берлин, 2011) в номинации «Малая проза». С 2002 года живет в Германии.

было интересного на территории завода «Россия». Например, купальня Екатерины Великой на большом пруду. Одноэтажный каменный павильончик с башенкой, кирпичик к кирпичику, лезвие ножа не просунешь. Дно пруда было, по слухам, выстлано морёным дубом, а в самом водоёме можно было найти образцы продукции завода со дня его основания, с 1929 года. Действительно, какие-то остовы и железные балки торчали из воды перстами грозящими.

Невдалеке на набережной находилась знаменитая дача канцлера Безбородко, дом с двадцатью девятью львами в ограде. Императрица прибывала водным путем, по Неве. С причала через грот по подземному ходу она направлялась на дачу своего царедворца, где располагалась со свитой. А позже спускалась в парк, на пруд. В те времена только-только открыли полюстровские источники с целебной водой, и петербургская знать ринулась на них, полагая, что вскорости под столицей возникнет новый Баден, покруче немецкого.

Надежды, увы, не оправдались. Но вода «Полюстрово» с ржавым осадком исправно разливалась и продавалась уже и в советское время, по 22 коп. за бутылку – 10 коп. сама вода и 12 коп. бутылка. А дачная местность с годами превратилась в питерскую фабричную окраину. В частности, в территорию нашего завода «Россия».

О чем мы толковали, портвейн пия? Уж точно не о политике. Было начало восьмидесятых. «Дорогой Леонид Ильич» в Днепродзержинске по бумажке обратился к собственному бронзовому бюсту, установленному на родине четырежды героя. Горбачев был введен в члены политбюро и о перестройке пока вряд ли помышлял. Ельцин руководил свердловским обкомом. Путин, закончив переподготовку в высшей школе КГБ в Москве и получив очередное воинское звание, вернулся в Ленинград и ходил где-то среди нас по Охте. Старательный ученик купчинской школы № 305 Дима Медведев каждый вечер пыхтел над уроками.

Нам, собственно, всегда было безразлично, при каком начальнике наша страна будет нас не любить. А то, что она не полюбит нас никогда, сомнений не вызывало...

Моих собутыльников звали Олег и Анатолий. Олег был из тех чрезмерно худых молодых людей, которые своей худобы стесняются и скрывают ее под избытком одежды. Несмотря на поздний апрель и нехолодную погоду, на нем было толстое пальто коричневого, «немаркого» цвета, с поясом и широкими ватными плечами, с мутоновым воротником. На голове – шапка-пирожок того же сорта меха, столь распространенного в родной стране среди трудящихся. На шее – пухлый мохеровый «шотландский» шарф, один из стойких дефицитов того времени.

Лицо у Олега было землистое, испитое. (В скобках стоит заметить, что сегодняшний читатель принимает этот старый эпитет за характеристику лица пропойцы. Это, конечно, не так. «Испитое» – значит худое, изможденное. Да и не был Олег алкашом. Как, впрочем, и все мы. То, что мы тогда собой представляли, теперь определяется изящным термином «ситуационный пьяница».)

Анатолий появился у нас в отделе недавно. Высокого роста, сутулый, в очках с тяжелыми сильными линзами. Типичный технический интеллигент. Женат, есть дочь. Больше добавить о нем, пожалуй, нечего.

А говорили мы тогда, думаю, о том, как хитрый ведущий инженер Боря Каплун во время обещанных шахматных баталий столь незаметно подвел стрелку шахматных часов в самый разгар цейтнота, что когда у соперника уже упал флажок, на его циферблате по-прежнему красовались изначальные пять минут.

Или о том, как во время недавнего ленинского субботника среди щелей неровной каменной кладки, укреплявшей невский берег, мы нашли около десятка бутылок шампанского – закупоренных, но без этикеток. Ясно, откуда, – с нашим предприятием соседствовал завод игристых вин, и натуральный обмен через общий забор – винная продукция на ходовые радиодетали – шел куда как интенсивно.

Но чтобы сразу столько! Мы сошлись на том, что кто-то из виноделов упёр эти бутылки, торгшись в производственную цепочку до операции наклеивания черно-золотых этикеток с виноградными гроздьями и привычной, но, строго говоря, самонадеянной надписью «Советское

шампанское». Вынес их через проходную и по какой-то причине временно припрятал у воды.

Зелье пришлось весьма кстати – субботник как раз выпал на день моего рождения, что время от времени случалось. Дело в том, что мне посчастливилось родиться в нескольких днях от Ильича, с которого эти «черные субботы» и пошли. Получалось, что именно тот субботник состоялся как бы в мою честь. Что, однако, отнюдь не радовало.

Ну, и так далее... Ребята мы были достаточно простые, без затей. Разве что со своими маленькими причудами. Я, например, однажды взяв в нашей научной библиотеке том «Книги отражений» Иннокентия Анненского из серии «Литпамятники» (как он туда угодил – дефицитный не менее шарфа Олега?), зажал его, и, накупив на ту же сумму книг по радиотехнике, возместил ими ущерб. Библиотеке это было безразлично, а я остался весьма доволен. (Впрочем, через много лет книга эта, меченая лиловыми библиотечными штампами, подвела меня на Пулковской таможне.)

Итак, мы выпили всё заготовленное и разбежались. Олег прихватил с собой бутылки 0,7 из-под портвейна – чтобы сдать их по 17 коп. Правда, для этого сначала нужно было достать из них пробки, которые мы проталкивали внутрь ключами от квартиры – ну, не штопор же с собой таскать. Но ловко извлекать их мы насобачились с помощью веревочной петельки. Могу проконсультировать, навык остался...

(Я сижу в поезде Мюнхен – Зальцбург, смотрю на снежные вершины Баварских Альп, похожие на перистые облака, и вспоминаю о технологии спасения винных бутылок!.. Выскажусь тривиально, но память наша сохраняет весьма странные вещи. Вот, например, в деталях помню необычный стульчак в туалете коммуналки моего детства – массивный, из древесины какой-то невиданной породы, серо-зеленого цвета, некрашенный, до блеска отполированный мягкими частями поколений жильцов.)

Выпивали мы в пятницу, а в понедельник следующей недели Анатолий уехал в командировку в Минск с тремя нашими сотрудниками. А еще через несколько дней его тело доставили в Ленинград в гробу.

Один из наших, бывших с ним в поездке, рассказал следующее. От принимающего предприятия их поселили в новом доме, где две однокомнатные квартиры были отданы под командированных. Одна на первом этаже, вторая на последнем, двенадцатом. В первую же ночь они вчетвером сели играть в преферанс в квартире первого этажа. Выпили, естественно, но немного. Часа в два ночи Анатолий сказал, что идет спать, и поднялся в квартиру на верхнем этаже, куда его поселили. Остальные трое остались и дело продолжали. Еще через час к ним в квартиру позвонил милиционер и попросил быть свидетелями – их окно единственное в доме светилось. Они вышли на улицу и увидели изуродованное тело Анатолия, лежащее на асфальте...

Короткое дознание показало, что Анатолий решил покурить перед сном. Сел на перила балкона, лицом к двери в комнату. Его, вероятно, качнуло, центр тяжести тела сместился. Он летел головой вниз. Тапочки остались на балконе. От страшного удара голова заскочила внутрь грудной клетки. Труп пришлось приводить в подобающий вид перед похоронами.

Я на них не пошел. Олег тоже. Взяли маленькую, скромно помянули товарища на том же месте, где еще недавно наперебой сыпали шуточками под портвейн, и разошлись.

Я представлял себе: вот летит он головой вниз. Он понимает, что через пару секунд всё кончится. Будет страшный удар, а самого его уже не будет. «Когда смерть приходит – нас уже нет», – как сказал Эпикур. Но сам момент перехода, взрыв боли? Что происходит в сознании в этот последний момент?

Через несколько лет мне представился случай спросить об этом у другого человека, совершившего подобный полёт. А тут в голову влезла следующая мысль. Всего несколько дней назад стояли мы и выпивали втроем, оживленно разговаривали. И если бы в тот самый момент нам сообщили – откуда-то свыше, совсем свыше: через неделю один из вас будет лежать в морге с картонной биркой на большом пальце ноги! Приготовьтесь, ребята! Может быть, еще успеете сделать нечто важное или хотя бы подумать об этом. Как я повел бы себя? Думаю, тянул бы дальнейшие

дни в страшной тоске, в свою смерть, тем не менее, не веря. Все мы в глубине души не верим в собственную смерть... А может, впал бы в безудержное и бездумное алкогольное веселье. На работу бы точно не ходил.

Это проклятие – «каждый третий» – стало преследовать меня и дальше. Вот помер местный алкаш Серёга, которому еще несколько дней назад ставил бутылку какого-то непонятого дерьма с гордым именем «Бурбон». Шмякнули головой об стену в собственном подъезде. Только до приемного покоя больницы и сумел дотянуть.

Вот ушел из жизни молодой поэт из города Е., приезжавший незадолго до этого в гости. Этот – по своей воле. Приладил петлю в дверном проёме.

Так цепочка и тянется, время идет, снаряды ложатся всё ближе...

Вернемся, однако, к «полёту».

Таня Бычкова по всем приметам должна была вырасти девочкой хорошей, а выросла плохой. Детство ее было вполне нормальным, но когда отец внезапно ушел из семьи, всё пошло наперекосяк. Мать начала пить. Старший брат тоже, при этом спился он как-то слишком уж стремительно. Такое с некоторыми бывает.

Таня была красивой: складная фигурка, невысокий рост, правильной формы яблочки груди, круглое личико, пухлый обиженный рот, в поздней жизни чуть надорванный в уголке.

Дальше всё пошло по стандарту: клей «Момент», оставшийся с нею на все последующие годы, первые алкогольные дозы, первые сексуальные опыты... В четырнадцать лет она уже трудилась минетчицей на Финляндском вокзале.

Со старшей подругой они работали вдвоем, подсаживаясь в машины клиентов. Такса – чет-вертак (помните такую надёжную фиолетовую бумажку?). За вечер на каждую из тружениц уходило до пятисот рэ, деньги по тем временам гигантские. Был конец семидесятых годов, и моя инженерная зарплата составляла, для сравнения, 130 руб. в месяц. «Всё, что хочешь, у меня тогда было!» – вспоминала Таня уже в безденежные девяностые.

Подружка своё дело любила и делала его не спеша и со вкусом. Таня – не любила и старалась отделаться побыстрее. А потому со своими скоростями пользовалась у клиентов куда как большим спросом. (Плюс юность и ангельская внешность.) О, эти запретные радости для Игорьков из «золотой молодёжи», мандариновых Гурамчиков, солидных Владимирпетровичей! В стране секса и проституции нету! Агонизирующая «стабильность»! Торричеллиева пустота прилавков!

Дальше жизнь попёрла, как нечистоты из забитой канализации. У Тани появились новые, отсидевшие срок подружки с замашками тюремной любви и не менее криминальные дружки. Были и кражи у подвыпивших клиентов, и дубинки в милиции (пара непроходящих темноватых вмятин навсегда испортили ее идеальной формы задик), и тяжкие запои, и «химия» посильнее школьного «Момент»...

Однажды Таня вышла на балкон девятого этажа с одним тощим, очень нервным человеком. В собравшейся в притоне мутной компании его как-то сторонились. Одна девица шепнула Тане, что на зоне он был опущенным. Это самое Таня ему и заявила в ответ на его притязания.

Глаза «петуха» улетели под лоб, и он, слова не сказав, резко присел, ухватил ее за щиколотки и рывком перекинул через балконные перила...

– Что ты почувствовала, когда летела вниз? – как-то раз, выбрав удобный момент, задал я ей давно лелеемый вопрос.

– Ни хера не почувствовала, – ответила она. – Сразу отрубилась.

Сработала какая-то защитная реакция сознания. Оно отключилось, пока человек еще не долетел до земли. Можно сказать, милость Господня.

Невероятный случай – Таня выжила. Даже позвоночник остался цел. Переломы руки и ноги, обрыв внутренних органов, сотрясение мозга. Тот июньский день стал ее вторым днем рождения. Позже даже родила мальчика Сашу. Но года через три-четыре умерла от передозировки.

...Прошло много лет. Я стою перед бизнес-центром «Бенуа» – единственным зданием, оставшимся от завода «Россия». Когда-то в течение месяца я, старший инженер, был определен на эту стройку подручным бригады сварщиков, состоявшей из двух работяг. Держал прутки при сварке, бегал за пивом. Тот, что был постарше и телосложением помельче, бригадир, жить без него не мог. Младший по секрету рассказал мне, как однажды, провалившись на лесах одной стройки, бригадир пробил доски четырех уровней и оказался на земле. Все кинулись вниз, но тела там не оказалось. Оно, отдуваясь после головокружительного полета, уже стояло в очереди у ближайшего пивного ларька...

Фасад восьмизэтажного здания переделан – персонажи по эскизам Бенуа к балетным постановкам Дягилева, нанесенные на зачернённые стекла, светятся во тьме. Длиннобородый тип в чалме, стрелец в красном кафтане, барышня... Я вглядываюсь через сквозную проходную в глубь территории – увижу ли башенку царицыной купальни? Нет, не видно. Снесена? А может, попробовать пройти, посмотреть? Бесполезно, не пустят. Не имею отношения ни к бизнесу, ни к его центру...

Утром я вышел на улицу и направился в ближайший разлив. У соседнего дома торчала высокая фигура спившегося Андрея. Обычно в это время он трётся в прямоугольных зонах дворов, между пятиэтажек, в поисках собутыльников. Но сегодня дальше лавочки собственного подъезда не двинулся.

Когда-то Андрей, взбрыкнув по неизвестной причине, бросил институт и пошел в армию. Только-только началась война в Афганистане, попал туда. Уцелел, вернулся. По возвращении никакими льготами для афганцев воспользоваться не сумел. Думаю, потому, что его жизненным кредо был и остаётся столь характерный для русского человека девиз: «Гори всё синим огнем!» (может, и Афган без единой царапины прошел по той же причине?). Для меня он всегда был молодым человеком, а тут вдруг узнал, что ему уже стукнуло пятьдесят. Изменился мало. Только круглая физиономия приобрела постоянный свекольный колер. От чего еще ярче засветились детские голубые глаза.

Я поздоровался с ним и спросил:

– Андрюша, как мама? (Он жил вдвоем с матерью.)

Он боднул головой воздух:

– А-а-а...

И тут же, оживившись, предложил:

– Хочешь?..

На лавке стояла бутылка дешевой водки под названием «Федерация» (надеюсь, федерация российская), рядом лежало битое зеленое яблочко в тёмных синяках, стояли пластиковые стаканчики. Тут же помешался и партнер Андрея по этой бутылке, человек со средней невыразительной внешностью. Андрей назвал его имя и добавил: «Служил там... Ну, сам понимаешь...» Тот вздохнул и, как человек, утомившийся от славы, скромно сказал:

– Да. Подполковник ГРУ.

Это «подполковник» мне особенно понравилось. Именно уточнённое «под...».

Сколько ж на Руси таких засекреченных алкашей? – в славном прошлом причастных к государственным тайнам, воевавших в Мозамбике, разруливавших проблемы Гондураса, Кореи, Вьетнама?! Отвечу: примерно столько же, сколько простых алкашей.

Я пригубил стаканчик и, усилием преодолев рвотный спазм, включился в трёп. Два полустакана спустя отставной разведчик понес всякую ахинею. Андрей, по обыкновению, сосредоточенно молчал в ожидании «прихода».

К нам подошел большой человек. Лицо его расплзлось углами в разные стороны. Он издавал мычащие звуки. От усилий произнести некое заветное слово на губах его лопались пузыри.

– Ненормальный? – шепнул я Андрею.

– Раз хочет выпить, значит, нормальный, – ответил он и налил инвалиду на полпальца «Федерации». Тот выпил (скорее, эту и без того гомеопатическую дозу почти всю распустил по подбородку), помычал и пошел дальше.

Я посмотрел ему вслед. В узкой кривой спине прибавилось уверенности. Он сделал настоящее дело – выпил с мужиками, потрепался.

Тут около нас появился новый персонаж – милостивая девушка в джинсах приостановилась прежде, чем зайти в парадную.

Она, очевидно, «шла с ночи», с Андреем как с соседом по подъезду была знакома. Оглядев нас, она строго сказала, что живет на первом этаже, устала, хочет спать, и просит под ее окном не галдеть. Выпить с нами она после двухсекундного раздумья отказалась.

Минут через пять после того, как девушка скрылась в подъезде, ее окно в первом этаже распахнулось, и оттуда облаком выдвинулся голос известного эстрадного певца с фамилией, напоминающей название кожной болезни. Сначала он хрипло надсаживался в шансоне: «Без бухла жизнь тухла...», а закончил неожиданно: «А из вас, три мудака, завтра кто-то будет жмурик...»

И тут я новыми глазами оглядел мусорные контейнеры, стоунхенджи частных гаражей из выщербленных бетонных плит, обломанные ветки чахлых кустов... «Смерть – это тот кустарник, в котором стоим мы все...», как сказал один современный классик.

Внезапно похолодало. Темно-лиловая туча пивным брюхом навалилась на наши печальные кварталы. Идти в разлив уже не имело смысла, но не из-за назревающего дождя. Во-первых, эти добрые люди уже худо-бедно опохмелили меня. А во-вторых, стоило всерьёз задуматься над словами песенки. Не через этот ли хриплый голос заговорил с нами... ну, сами понимаете, кто...

Я попрощался с Андреем и подполковником ГРУ и пошел домой. Придя, сел за письменный стол и упёрся взглядом в календарь.

Значит, завтра один из нас того... Вечером мне предстояло ночным поездом добираться до Москвы, а там назавтра из Внукова вылетать в Штутгарт.

НАВОЗ БОЖЬИХ КОРОВОК

Вольные хлеба

Вечером шел мелкий, как крупа, злой снег. Большая среднеазиатская овчарка Зайка сидела в конуре, на охапке сена, и смотрела на окна дома, где горели разноцветные огоньки новогодних гирлянд. Зайкой ее звали потому, что по паспорту она была Грета, но заходивший к Аникиным почти каждый день занять пятьдесят, или сколько получится, рублей сосед Толик звал ее Зойкой, в честь своей тещи. «Не в честь, а в вычество», как он не уставал поправлять. Когда Светка, жена Аникина, воспитывала за разные провинности Грету венником, которого собака изо всех сил старалась бояться, то ругала ее Зойкой, а когда чесала за ухом, то Зайкой. Оказалось, что это очень удобно – менять всего одну букву вместо того, чтобы менять выражение целого лица или настроение. Поскольку Светка была женщиной доброй и чаще чесала собаку за ухом, чем лупила венником, то Грета незаметно для себя и окружающих превратилась в Зайку. Больше всего этому превращению был рад сосед Толик. И волки были не в курсе, что над ними смеются, и овцы хотали до упаду.

Зайка сидела и думала о том, что год заканчивается хорошо. Будку ей летом построили новую. Такую большую, что в ней поначалу с удовольствием играли хозяйские дети, и Зайка даже начала сомневаться, кто в этом доме хозяин. Куриных костей вот принесли с кухни и большую миску остатков винегрета, из которого Зайка аккуратно съела все, кроме зеленого горошка.

К утру потеплело, и снежинки стали большими, добрыми и слезливыми. Когда Аникин проснулся, синицы во дворе успели не только позавтракать, но и пообедать привязанным бечевкой к ветке яблони салом. Зайка сидела метрах в десяти от своей пустой миски с едой, прикидывалась веткой яблони или старой канистрой из-под керосина и терпеливо ждала, когда какая-нибудь сорока или ворона соблазнится десятком горошин из съеденного винегрета. Тут-то она как выскочит, как выпрыгнет и, как всегда, не поймает.

Увидев Аникина во дворе, с рюкзаком за спиной и фотоаппаратом на боку, Зайка побежала в сени, к крючку, на котором висел ее длинный прогулочный поводок, и стала стягивать его зубами. Аникину не очень хотелось брать собаку с собой, но чувствовать себя последней скотиной, лишившей Зайку прогулки, ему хотелось еще меньше. Он шел далеко, в соседнее село Березовка. От его Мостков до Березовки было километров пять, если перейти по поваленной осине через неширокую, не шире банного полотенца, речку Синичку и идти не по проселку, а напрямую по холмам, держа курс на белую колокольню Березовской церкви.

Михаил Бару родился в 1958 году в Киеве. Окончил Российский химико-технологический университет в Москве. Химик и инженер, кандидат технических наук. Стихи и проза публиковались в журналах «Арион», «Знамя» и др. В «Волге» публикуется с 1999-го года. Автор нескольких книг стихов и прозы, в том числе «Обещатье» (2005), «Следы птиц» (2007), «Один человек» (2008), «Цветы на обоях» (2009), «Записки понаехавшего, или Похвальное слово Москве» (2010), «Тридцать третье марта, или Провинциальные записки» (2011), «Дамская визжалъ» (2011). Составитель первой российской антологии хайку и трехстиший «Сквозь тишину» (2006). Живет в Москве.

В Березовку Аникин ходил регулярно – почти каждый раз, когда удавалось приехать к родителям в деревню. И не было случая, чтобы он до нее дошел. Аникину нравился сам процесс асимптотического, как он сам выражался, приближения к Березовскому храму. Белая мачта церковной колокольни то выплывала из-за одного холма, то ныряла за другой, и Аникину представлялось, что на самом верхнем ярусе этой колокольни стоит, крепко уперев ноги в качающуюся палубу, кряжистый сельский батюшка с седой, развевающейся по ветру бородой и безотрывно смотрит в блестящую латунную подзорную трубу.

Аникин наступал на Березовку основательно – под каждой березой или осиной он устраивал привал, пил кофе, ел бутерброды с сыром и ветчиной, собирал грибы, когда был сезон грибов, и фотографировал до полного изнеможения батареек в фотоаппарате. Фотографии потом складывал в аккуратные папочки на своем ноутбуке. Всё это планировалось тщательно просмотреть, убрать лишнее, подкорректировать в фотошопе, систематизировать и может быть даже устроить выставку... внутри ноутбука. Впрочем, выставка была делом отдаленного будущего, которое Аникин торопить не собирался.

Вдоль деревенской улицы дул пронзительный ветер, и Зайка пожалела было, что увязалась с Аникиным, и даже открыла пасть, чтобы... но тут послышался визгливый, состоящий из мелких острых осколков, лай собаки Прохоровых – кривоногой дворняги Мани. Дом Прохоровых стоял на самом краю деревни. Точнее сказать, полдома. Другие полдома занимали дачники из Москвы, приезжавшие на лето. Общими у Прохоровых и дачников были крыша, скважина и погружной насос «Ручеек», который качал воду в дом. Считалось, что Прохоровы присматривают за пустующей половинкой дома. До тех пор, пока они не вытащили насос и мгновенно его не пропили. Вместе со шлангом, через который шла вода. Прохоровы это сделали в первую же зиму, как дачники уехали к себе в Москву, так что считалось недолго.

Прохоровых в четырехкомнатной половинке дома обитало восемь человек. Сама Нинка, вечно поддатая, красномордая баба, ее муж, двое ее детей, два зятя и двое внуков. Как-то раз поутру дачница Лариса, предварительно отказав в сторублевом кредите, спросила у Нинки:

– Что ж ты уже с самого утра пьешь-то, а?

– Здравствуйте! – отвечала, театрально кланяясь, Нинка. – Чего это вдруг мне не пить? Суп я, например, уже сварила.

Маня брехала в три горла. Издалека Аникину было видно, что она облаивает какую-то серую кучу, лежащую в сугробе возле калитки. Куча была Нинкиным мужем. Это был второй ее муж. Первый умер шесть лет назад. Спился. Сегодня как раз была пятая годовщина его смерти. Вернее, она была позавчера, и с позавчерашнего дня Прохоровы эту скорбную дату отмечали так, что Прохоров* как вышел покурить на свежем воздухе, так и... Тут на Манину брехню вышла из дому Нинка с одним из зятей и втащили мычащего от горя Прохорова в дом.

И Аникин и даже Зайка знали: останавливаться у дома Прохоровых нельзя. Стоит только задержаться хоть на минутку, как Нинка или ее муж, или зятья, или внуки, или собака Маня, или все они разом попросят денег до получки. Саму эту получку никто из них не видал много лет, а Мане и малолетним прохоровским внукам она и вовсе представлялась огромной теткой с зелеными бутылками вместо рук, но просить это обстоятельство нисколько им не мешало.

Стремительно миновав прохоровский дом, Аникин с Зайкой свернули к небольшому оврагу, по дну которого протекала Синичка. За оврагом стояли дом и баня Селезневых. На селезневском берегу Синички можно было заметить небольшой холмик с торчащими из снега зарослями рыжей, выцветшей щетины. Щетина эта росла из окоченевшей и замерзшей до железобетонного состояния туши дракона. Чудовище прилетело прошлым летом в Мостки топтать и жечь посевы, требовать себе первых на селе красавиц. С посевами получилась неувязка. Дракон их, само собой, потоптал, сколько мог, и стал поджигать, но то ли из-за того, что накануне прошел сильный

* На самом деле его фамилия была Григорьев, но в семействе Прохоровых царил матриархат, и все было по матери – даже фамилия мужа и собаки Мани.

дождь, то ли из-за того, что дракон был стар, сильно кашлял и, скорее, дышал на ладан, чем изрыгал пламя, – с поджогом ничего не вышло. Деревенские мальчишки потом даже поджигали спичками мокроту, которую выкашлял дракон, но и она не загорелась, а только вспыхнула на секунду зеленоватым пламенем и тут же погасла.

Мало того, поле, на котором он приземлился, принадлежало компании «Мордатель». На нем рос овес для пропитания мордательских коров. Уже на следующее утро из соседней Андреевки, где жил управляющий и была машинно-тракторная станция, приехало два экскаватора с ковшами, на которых сверкали остро наточенные клыки и черный джип ленд крузер, из которого вышло четыре таких мордателя... Короче говоря, после недолгого разговора дракон тяжело взлетел, не забыв при этом прицельно обгадить ленд крузер, и на бреющем переместился в овраг на краю деревни, аккуратно рядом с баней Толика Селезнева.

Толик, помня про первых сельских красавиц, в первую же ночь пришел к дракону и стал договариваться насчет своей тещи, которой и тираннозавру хватило бы на месяц каждодневного трехразового питания, но дракон ее есть не стал, сказался вегетарианцем. Упорный Толик стал тогда намекать дракону на женскую сущность Зои Сергеевны и даже приписал ей такие достоинства, которые и сам только один раз увидел в журнале, совершенно случайно найденном у сына Вовки. При этих намеках дракон и вовсе сник. Загрустил и Толик, надеявшийся на дракона как на стихийное бедствие в борьбе с тещей. Он достал из кармана пластиковую бутылку из-под фанты. В такие бутылки разливала свое зелье деревенская самогонщица Танька Лаврухина. Ходили слухи, что она в этот самогон и димедрол добавляла для нажористости. Достаточно было и одного стакана, чтобы дня два мучиться похмельем.

Часа за три душевного разговора, в течение которых Толик успел раза два сбегать к Таньке за самогоном и вернуться, они с драконом успели не только рассказать друг другу все наиболее интересное, но даже и договориться до общих родственников.

Через три дня дракон умер. Спился. То есть, и не спился даже, но заснул навсегда. То есть, не заснул навсегда, а заснул... То есть, сначала-то он пил с Толиком до чешуйчатых зеленых огнедышащих чертей; жрал, несмотря на все свое вегетарианство, ворон и случайно забредших в овраг кур; клялся в вечной дружбе и уважении Толику; унавозил местность вокруг себя огромными зелеными кучами, на которые почему-то не садились мухи; орал по ночам с Толиком непристойные частушки, за которые однажды, вместе с Толиком, получил по гребню граблями от толиковой жены Нюры. Да он бы и сейчас жил, кабы не димедрол, который Танька добавляла в самогон. Одним хмурым похмельным утром Толик забрел в драконов овраг, чтобы... Если ящер и спал, то так крепко, что даже грабли, обломанные об него Нюрой и брошенные рядом, не смогли его разбудить. Не проснулся он и на следующий день, и через неделю. Толик грешил на димедрол.

Всю следующую за этой неделей Толик убивался. Не переставая, конечно, при этом пить. Он даже решил пойти в Березовскую церковь, покаяться и поставить заупокойную свечку Славику (так он называл дракона), но был избит верующей Нюрой, едва успел сообщить ей о своем намерении. Впрочем, никакой нужды в этой экзекуции не было, поскольку Толик постоянно находился в таком... в таком трауре, что не только дойти до Березовки, но даже и порог без посторонней помощи не переступил бы.

Пока Толик убивался сам по себе и о нюрины грабли, ударили заморозки, а за ними повалил снег, и туша Славика, которая почему-то совершенно не разлагалась, превратилась в огромный сугроб или маленький холмик, который деревенские собаки обегали за версту...

За Селезневыми жили брат и сестра Гильдеевы – Серега и Маринка. Они были татарами, но не понаехавшими в обозримом прошлом, а пришедшими в необозримом. Предок Гильдеевых пришел сюда еще с войском Батыя, да так и остался. Вышел ночью из расположения их штурмового кавалерийского, ордена Чингисхана второй степени, полка по естественной надобности оставить как можно больше потомства и был зарезан в упор местными крестьянами за то, что успел это сделать. С тех самых пор Гильдеевы в Мостках не переводились.

Гильдеевыми они были только по паспорту – все в деревне, не исключая их вечно голодного шелудивого пса Перчика, звали их Разгильдеевыми. Серега Гильдеев, отсидевший в молодости шесть лет «по хулиганке», работал сезонно, то есть деревенским пастухом, да и то только до первой полочки. На нее он покупал у Лаврухиной самогон, а вернее, расплачивался с Танькой за взятое в долг и брал в него же новое. После этого Серега уходил в запой. Компания для пьянок ему была не нужна – у него были коровы. С ними он разговаривал по душам, они его уважали и души в нем не чаяли. Беседовал с ними Серега исключительно матом, поскольку именно этот язык был для него родным и никакого другого он не знал от рождения. Само собой, коровы тоже стали мычать нецензурное. Владельцы коров на это не очень обращали внимания, кроме старухи Тимофеевой. К ней приехала внучка из города и такого от коровы понаслушалась...

Маринка Гильдеева считалась в деревне гулящей. Это была неправда. Нигде она не гуляла – мужики к ней приходили сами. Просто Маринка была доброй и никому не отказывала. Последствия этой доброты бегали по захламленному двору гильдеевского дома в количестве двух мальчиков. На самом деле Маринка родила трех или четырех детей от пяти или шести отцов, но брать их из роддома не стала. Отцы этих детей этого делать не стали тоже, поскольку не все были в курсе, что стали отцами, а если бы и были в курсе, то делать этого не стали бы потому, что не делали этого никогда. Впрочем, от детей была и польза. За них регулярно платили детское пособие. Прожить на него было нельзя, но пропить можно.

Мальчиков Маринка родила от неизвестного гастарбайтера, нанятого для выкапывания ямы под септик у дачницы Ларисы. На самом деле, гастарбайтеров Лариса наняла троих. Люди они были тихие, плохо говорили по-русски, и все время копали, не выходя за пределы Ларисиной усадьбы. Один единственный раз кто-то из них сбегал в приехавшую в деревню автолавку за сигаретами, и вот на тебе... Обо всем этом Лариса, к которой пришла Маринка для выяснения адреса отца мальчиков, даже не подозревала. Маринке нужны были алименты. Для начала надо было установить хотя бы фамилию непутевого отца. Увы, никаких фамилий, имен и адресов Лариса, как ни старалась, вспомнить не смогла. Не потому, что у нее была плохая память, а потому, что сама Маринка вспомнила о том, что ей не помешали бы алименты, через два года после рождения мальчишек.

Ветер утих. С холма, на который взобрался Аникин, была видна вся деревня. Мостки были маленькой деревней – чтобы все их увидеть, достаточно было, как говорила аникинская жена, встать на табуретку. Петляющая изо всех сил Синичка делила Мостки на четыре неравных части, соединенных между собой тремя мостиками. Первый соединял берег, на котором стояло облупленное здание сельской библиотеки, с берегом у дома сельской старосты Василисы Егоровны Гороховой, которую в деревне за глаза звали «баб Васей». Этот мостик был построен еще в советское время из бетонных плит, и у него даже были настоящие перила, а потому его называли «Дворцовым».

Второй мостик между Толиком Селезевым и многочисленными Прохоровыми называли «Танковым». Он был сварен рукастым Толиком из толстых листов ржавого железа. На вопрос – откуда такие листы, Толик отвечал, что купил по случаю за бутылку у знакомых танкистов списанную танковую броню. Ее как раз списывали в огромных количествах после вывода наших танков из Восточной Германии. Списанная танковая дивизия проезжала ночью мимо Мостков к месту секретной танковой свалки на Урале, и Толик, у которого как раз в ту ночь была бессонница, удачно подсутился. В этой версии у односельчан ничего не вызывало сомнения, кроме того сомнительного факта, что Толик отдал за броню бутылку. Односельчане справедливо полагали, что бутылку Толик не отдал бы и за целый танк с полным боекомплектом снарядов.

По третьему, самому хлипкому, деревянному мостику, который назывался «Березовским» потому, что выходил на проселочную дорогу, идущую в Березовку, бодро вышагивала жизнерадостная Лариса. За ней тащился ее муж – угрюмый бородатый мужик в ватнике камуфляжной расцветки. Муж сгибался под тяжестью прятки, подаренной Ларисе кем-то из деревенских. Соб-

ственно говоря, прялку ее прежний хозяин, которому она перешла в наследство от матери, хотел спалить и даже успел ударить по ней разок топором, чтобы разделить на дрова, как случайно проходившей мимо Ларисе взбрело в голову устроить у себя дома уголок деревенского быта. Теперь она шла, ведя в поводу мужа, нагруженного прялкой, и представляла себя барышней-крестьянкой. В голове у нее продумывался фасон летнего крестьянского сарафана с большим квадратным вырезом, вологодскими кружевами и красной атласной лентой, завязанной под грудью. Муж в ответ на приказ не молчать, а думать о том, как обустроить уголок, изо всех сил продумывал погреб с рядом пыльных запечатанных бутылей с разноцветными настойками и висящими на крюках окороками, уютное вольтеровское кресло и двух или трех румяных дворовых...

При мысли об окороках Зайка просительно посмотрела на Аникина и облизнулась. Она доподлинно знала, что в рюкзаке у него лежат две говяжьих сардельки между кусками ржаного хлеба. Совсем незачем было взбираться на этот холм, чтобы их съесть.

Аникин, однако, никакого внимания на Зайку не обращал – он стучал носком обутого в галошу валенка по большому ржавому звену тракторной гусеницы. Как оказался трактор на вершине этого холма, по какой такой причине потерял он часть своей гусеницы... Быть может, вездесущие деревенские ребятишки исхитрились где-то стянуть этот неподъемный кусок железа и потом изо всех, как выражались в Мостках, дрисёнок тащили его в пункт приема металлолома в соседней деревне, да не дотащив бросили, или молодой ухарь-тракторист решил покатать свою девушку, пахнущую парным молоком доярку и, разволновавшись от быстрой езды, схватился впопыхах не за тот рычаг – и порвал гусеницу, или просто-напросто поехал в соседнюю деревню за водкой... Точно за водкой. Рядом с гусеницей из-под снега торчало горлышко пустой бутылки. Любопытный Аникин раскопал ее и на выцветшей этикетке прочел название «Вольные хлеба»*.

Мастер и Маргарита

Часов в восемь вечера всходящая молодая луна запуталась в ветках старой корабельной сосны, растущей перед домом. Застряла так, что никаким ветром ее нельзя было оттуда вызволить. Сосна качалась, душераздирающе скрипела, но веток не расцепляла. У основания огромного дерева крутилась, подпрыгивала и бешено лаяла на луну мелкая лохматая собачка.

Родион сидел на кухне, пил чай со сладкими сухарями и смотрел на сосну, луну и собаку в окно. Ни с того, ни с сего к его дому подъехала древняя, еще с педальным приводом, белая копейка, из которой вылезла сухая маленькая старушка с тяжелым пучком серебряных волос и принялась энергично стучать в ворота. Старуха была директором Новозайцевского краеведческого музея. Родион ждал ее на две недели позже – такой был уговор, да и раньше приезжать не было никакого смысла.

Чертыхаясь, Родион вытащил ноги из домашних, обрезанных по щиколотку, валенок, обулся в уличные галоши и поплелся открывать незваной гостье.

– Да не готово у меня еще ничего, Рита, – бубнил Родион, макая сухарь в чай. – Не готово! Одни куколки. Самому что ли мне вместо нее садится? Еще и вязать прикажи!

– Выручи, Родион, миленький. Ну кто ж знал, что моя Капитолина так скоропостижно Богу

* После предложения о водке я написал полстраницы текста и удалил их. Потом написал еще треть страницы и снова удалил. Потом подумал, что не буду продолжать, а лучше закруглюсь, и написал четверть страницы, которые постигла та же участь. Потом прогулялся к реке, обедал гороховым супом с копченой рулькой, котлетами с гречневой кашей и даже выпил рюмку рябиновой настойки. Ничего не помогало. Хоть рви на себе выпавшие двадцать лет назад волосы и бейся о клавиатуру головой. Писал бы я на бумаге – так хотя бы рвал неудачные варианты в клочки и бросал бы их на пол. Жена зашла бы ко мне в кабинет и увидела по разбросанным клочкам, что сосуд моего вдохновения пуст, как графин из-под рябиновки. Короче говоря – она зашла и увидела, что клочков нет, а вместо них пустой графин и тяжелая, невыносимая атмосфера творческих мук. Жена сказала, что клочки – дело наживное, и она легко может...

душу отдаст. Нас в музее всего трое штатных было – я, Танька и она. Танька вон рожать надумала, Капа померла – я одна осталась. Как узнают, что Капы нет – так ставку мне и ампутируют без всякого наркоза. Другую такую старушку мне на эти гроши не найти. А у нас особняк купеческий, каменный – потолки четыре метра высотой и лепнина. Охотников на такой дом... Сейчас тебе решение городской администрации – и пойдем мы на улицу со своими экспонатами. У меня в фондах фамильная ночная ваза князей Голенищевых-Кутузовых. Севрский фарфор! Ей цены нет! В нее, может, сам Михаил Илларионович после совета в Филях... Помогите, родной. На колени перед тобой стану, хочешь? Только подними потом. Артрит, собака, замучил.

– Хоть кол вам всем на голове теши! – рявкнул Родион. – До чего ж вы все, музейные, упертые. Всем надо срочно, всем без очереди. Я не двуличный, между прочим. Работаю без помощников. Реактивы привези, растворы приготовь, температуру нужную держи... А все денег стоит. И немалых. К примеру, одного куриного белка сколько уходит... Пропасть. А платите сколько? С гулькин хер. Да у вас и нет ничего, окромя него-то. А как загребут меня за такие художества – кто вступится? Ты что ль? Кто прокурору ручку позолотит – министерство культуры?! Знаем мы вашу прачечную...

Маргарита сидела, не поднимая глаз от чашки. Хитрая старуха знала, что Родион старик добрый – сам краеведом в молодости был и уж брата своего, музейщика, а вернее, сестру, в беде не оставит. Надо только дать ему выговориться. И не забывать подливать в граненый лафитник.

Через три или четыре подливания Родион стукнул узловатым кулаком по столу:

– Черт с тобой! Пошли в подвал. Пока своими собственными глазами не увидишь...

В подвале было светло, тепло и сухо. Ни паутины, ни мышей, ни плесени. Пол и стены были выложены метлахской плиткой. Вдоль стен стояли куколки, а вернее сказать, большие коконы. Те, что поменьше, были совсем белые, мутные. Те, что побольше, – полупрозрачные, точно из полиэтиленовой пленки. Еще одна была почти прозрачной, и в ее глубине виднелась старушка в синей вязаной кофте, в толстых дальнозорких очках. Видно было, как она медленно-медленно шевелит вязальными спицами.

– Вот же моя Капа! – воскликнула Маргарита.

– Капа, да не твоя, – отвечал Родион. – Эту заказал один музей из Москвы. Послезавтра забирать приедут. Сказали – если подойдет, то еще пять закажут. А у твоей, вишь, еще и очки не ороговели даже. Не говоря о спицах. Им еще формироваться надо. Её сейчас вылупить – хлопот не оберешься. Тяжело их, недоношенных, выхаживать. Надо знать – какими лекарствами кормить, а какими поить. Валидолом да зеленкой не отделаешься. Одних эссенцуков надо три бутылки в день, не говоря о разных внутримышечных уколах. Ей надо пылью дышать музейной хоть полчасика в день. Знаешь ты, музейная твоя голова, сколько этой самой пыли надо собрать, чтобы... Эх, места мало – развернуться не могу. Заказов понабрал, а с одним инкубатором много ли их вырастить... Надо еще один подвал копать. Один грунт вынуть стоит...

– Цену, что ли набиваешь, Родион? Так скажи прямо – не юли.

– А хоть бы и набиваю. Товар-то у меня штучный.

Маргарита достала из внутреннего кармана куртки тонкую пачку тысячерублевок. Родион взглянул на деньги, достал из кармана несвежий носовой платок и шумно высморкался. Где-то наверху, над сводами подвала раздался ужасный грохот и завизжала собака.

– Опять упала, дура, – сказал Родион. – Второй вечер взойти толком не может. Не сосну ж мне пилить из-за нее в конце-то концов...

Если бы...

...мы могли, в случае опасности, отбрасывать хвост или какой-нибудь другой орган. Смотря по обстоятельствам. Дети бы отбрасывали уши в огромных количествах. Пришел домой с двой-

кой, подставил ухо родителю.... Мамы собирали бы потом эти лопухие сокровища. Хранили бы в шкатулках из красного или синего дерева. Женишься ты или выходишь замуж, а твоя мама выносит к столу коллекцию твоих ушей, сморщенных и высохших, как курага, и начинает с умильной улыбкой рассказывать про каждое ухо – вот это за двойку по арифметике, вот это за разбитое оконное стекло, вот это за то, что пришел домой поздно, вот это за то, что не ночевал... Ты будешь смущаться, краснеть и шипеть матери: «Ну кому это интересно, нашла чем хвастать, унеси уши сейчас же обратно!», а твои закадычные дружки будут хохотать и показывать на тебя пальцем. И только твоя молодая жена задумчиво возьмет из шкатулки то самое ухо, которое ты, вернувшись домой под утро, отбросил не от страха, что накажут, а, скорее, по детской привычке... и крепко прищипит его пальцами.

Или ты заявился домой с новогоднего корпоратива к самому концу зимних каникул, а на тебе и помада, и пахнешь ты духами Сальваторе Феррагамо, и из кармана пиджака торчит кончик такого кружевного, что тут хоть десяток ушей по полу разбросай – не поможет. От взгляда жены у тебя начинает дымиться шапка... и ты рассказываешь ей леденящую душу историю о том, как пьяные бухгалтерши напали на тебя в тот самый момент, когда ты мирно спал лицом в салате, перемазали губной помадой, надушили духами и насовали в карманы такого... такого... Просто хулиганки какие-то, а не серьезные замужние женщины со взрослыми детьми и облысевшими мужьями. Короче говоря, ты насилу убежал от них, отбросив самое дорогое, что у тебя было. И черт с ним, и пусть они им подавятся, и новый отрастет, будет лучше старого, и сколько раз уже так было и ничего стра... и тут шапка на тебе загорается синим пламенем.

...у нас были длинные языки, как у хамелеонов. И так же быстро выстреливали. Сидишь себе в гостях за столом. Изюм всех сил культурно сидишь и вдруг... раз! Последнего на блюде бутерброда с икрой как не бывало. Никто и глазом моргнуть не успел. Это если ты один такой быстрый, а если вас двое, то натурально можно сцепиться языками. Женщины так постоянно и ходили бы парами. Особенно близкие подруги. Мужчинам удобно было бы таким языком прическу поправлять. Лизнул чуб и тут же пригладил. Или усы после еды облизывать. К такому языку хорошо бы и такие же скорострельные губы. Это внесло бы свежую струю в отношения между полами... Помните игру такую, когда становишься спиной к нескольким играющим, а тебя кто-нибудь как стукнет, и потом все стоят с выставленными кулаками и поднятым большим пальцем. Поди, определи – кто из них стукнул. Так и тут – пусть девушка определит, кто ее поцеловал. Все стоят, как ни в чем не бывало, и только один лопух никак не может втянуть губы обратно. Вот за него-то она и выйдет замуж. В кинотеатрах что творилось бы... Или в общественном транспорте. Одно плохо – к старости мышцы на языке и губах утрачивали бы свою реактивность и упругость. Старики и старухи ходили бы с отвисшими губами и языком. Препротивное было бы зрелище. Конечно, артисты и президенты кололи бы себе ботокс, но получалось бы еще безобразнее.

...у нас была вторая пара глаз на затылке, то фирмы, производящие парктроники, разорились бы. Так им и надо. Или вот еще удобство. Пришел ты домой посмотреть футбол, а жена тебе – поговори со мной. Это такая просьба, лучше которой даже вопрос где ты был, скотина, и почему у тебя, пьяного, галстук в губной помаде. Даже и слова поперек не говоришь, а немедленно садишься спиной к включенному телевизору и начинаешь с ней разговаривать. Ну, крикнешь невпазд «Гол!» или «Кто так бьет, кривоногий!». Ничего страшного. Жена все равно никаких умных слов от тебя, бесчувственного, и не ожидала. Просто хотела выговориться. Или ты еще не женат и разговариваешь с девушкой, а затылочными глазами подмигиваешь другой или даже третьей. Впрочем, наверняка женатым мужчинам женщины придумают обычай носить на этих

глазах шоры. Еще и будут украшать их вышивкой. И женщинам тоже польза будет. Они смогут увидеть – не морщит ли у них платье сзади и достаточно ли открыта спина. Впрочем, некоторые станут расстраиваться, решив, что нижний бюст у них выглядит не так привлекательно, как им казалось. Честно говоря, я не думаю, что женщинам нужна вторая пара глаз на затылке. Это будут не женщины, а какие-то веб-камеры на избирательных участках. Женщинам нужен второй рот. Лицевым ртом она ест, к примеру, диетический салат из сосновых опилок с крапивой, а с заднего крыльца наворачивает пирожные с заварным кремом и шоколадные конфеты. Но это не самое главное. Главное то, что она сможет двумя ртами сама с собой разговаривать. До полного изнеможения и короткого замыкания.

Рассказ уфолога

...знакомый космонавт рассказывал, что он как раз в этой самой деревне, где потерпели крушение инопланетяне, был летом у бабушки, и она его не пустила посмотреть запчасти там топливные баки, инструмент шанцевый, понятное дело, растащили, а у них потом в деревне один мужик жил еще долго с марсианкой пока соседи не настучали из сортира по ночам зеленое свечение так и перло и еще шепот беспрерывный когда за ним приехали, чтобы документы все и записи его забрать вместе с ним и марсианкой – он на крыльцо вышел, упал с него, расшибся головой и умер его до сих пор скрывают в архивах КГБ документов у мужика не нашли, а только икону старинную, еще скифских времен, где Георгий Победоносец протыкает копьем змея, но не змея, а, как говорят криптозоологи и фольклористы, плезиозавра, который есть только у нас на Севере в одном потерянном озере и в Америке, у индейцев прямо культ этого ящера его поросятами задабривают, чтобы озеро переплыть в гости к соседям и акулу нашли доисторическую длиной двадцать пять метров не то, чтобы всю, но зуб длиной двадцать сантиметров стали исследовать, а он оказался из неизвестного науке композитного материала и не поддавался не только победитовым сверлам, но даже и лазерному лучу, а настоящий зуб тоже в архивах ЦРУ, в музее выставили костяную копию и взяли со всех подписку о невыезде Кусто с Пикаром спускались в Марианскую впадину, они там, на дне, акулу эту видели и сразу ее узнали и стали дергать за трос, чтобы их подняли, конечно, быстренько назад вытаскивают, а стальной трос в ногу толщиной в лохмотья, вся обивка покорежена и покрыта матерными словами черной слизью на анализ и оказалось, что это акулий помет, в котором содержатся неизвестные науке кодирующие белки и ферменты, лечащие рак и СПИД засекретили, и мы даже знать не знаем, что доисторические вирусы, которые жили внутри ящеров, после их смерти плавали по всему океану и вселились в разных рыб и китов, из которых получились подводные мутанты длиной тридцать метров с руками, небольшой головой размером с человеческую и рыбьим хвостом сфотографировали японские рыбаки у побережья Аргентины их должно быть не меньше десяти тысяч иначе популяция не выживет, как говорят биологи, но мы их не видим и никогда не увидим, потому, что они живут в другом измерении и к нам попадают через черные дыры в пространстве океанской воды, а когда мы к ним подбираемся слишком близко, то они на нас насылают цунами и...

По тонкому льду

Так тепло, что последние сугробы, спрятавшиеся в темных, сырых оврагах, обливаются холодным потом. Набухшие ручьи, раньше впадавшие в самые обычные лужи и считавшие за счастье впасть в какую-нибудь речку-переплюку, теперь все, как один, норвят течь в моря, а то и в океаны. На подсохших пригорках малахитово зазеленели прошлогодние коровьи лепешки с деловито снующими по ним насекомыми. Льда на озере, считай, что уж и нет. Те из любителей подледного лова, которые никак не могут перестроиться на летний сезон, приносят наморожен-

ный дома лед и сидят на нем не дыша, боясь проломить. Никаким буром и, тем более, пешней к нему уже прикасаться нельзя, и потому сверлят в нем лунки аккуратно ручной дрелью, направляя в патрон обычные сверла по металлу, диаметром не более сантиметра или, для крупной рыбы, двух и даже трехсантиметровые перовые сверла по дереву. Рыбакам вообще трудно в межсезонье. Перейти на летнюю рыбалку – это значит не просто поменять короткую удочку на длинную и валенки на болотные сапоги, а еще и осознать, что водку, ледяную, по умолчанию, зимой, теперь надо перед употреблением охлаждать. В то смутное весеннее время, когда зимняя рыбалка уже кончилась, а летняя еще не началась, им снятся беспокойные эротические сны с икрой и русалками; при взгляде на расцветающие женские ноги в чулках в крупную сетку рыбак начинает что-то мучительно вспоминать и лихорадочно искать в карманах штанов то ли поплавок, то ли воблер...

Еще и лед на речке тоньше бумаги, еще и отопительный сезон только начался, и сосед сверху день и ночь стучит по батарее, чтобы выбить из нее застрявший пузырь воздуха, еще жена только думает сказать насчет новых зимних сапог и все никак не решит, в какую руку удобнее взять скалку для разговора, а рыбак уже сам не свой. То унты свои меховые из антресолей достанет, чтобы осмотреть их на предмет моли, то бур, сделанный из самой что ни на есть твердой ледакольной стали, наточит напильником до бритвенной остроты, то ящик для снастей покрасит в двадцать пятый или даже в двадцать шестой раз самолучшей финской водостойкой краской, то вытащит с нижней полки холодильника влажную тряпицу, развернет ее, пересчитает драгоценного мотыля и, обнаружив недостачу трех личинок, устроит выволочку жене и, на всякий случай, собаке. Сны у рыбака в это время серебристые от чешуи вылавливаемых окуней или красноперок. Но спит он плохо – часто просыпается от храпа треска неокрепшего молодого льда и со страху хватается за что попало. Получив затрещину от жены, идет на кухню покурить, успокоиться и заодно проверить, как там мотыль, мешок с подсолнечным жмыхом для подкормки, не выдохлась ли... Только одной бутылки может и не хватить, если вдруг ударит сильный мороз или клев будет такой, что не отойти сутки через трое, или сосед, как в прошлый раз поймает огромную щуку и ее придется обмывать втроем, чтобы успеть к концу отпуска... Тут рыбак просыпается, видит, что уже давно утро и на кухню входит жена поговорить о покупке новых зимних сапог. Вернее, догадывается. По скалке в ее правой руке.

Снег липкий, тяжелый и ноздреватый. Дышит тяжело. Если встать под обрывом, на занесенном снегом льду, и прислушаться изо всех сил даже ушами на шапке-ушанке, то можно услышать, как под ногами, под снегом и подо льдом учится разговаривать ручей.

Поздний ледоход. Тонкие полупрозрачные льдины раскалываются об отражения куполов, колоколен и башен.

Снег в поле тает, и аккуратные изящные следы лисиц расплываются до собачьих. Вода в реке такая черная, что удивительно, как в ней даже днем не заведутся звезды. Солнце выглядывает из-за облаков хитро – будто замышляет если и не полное, то частичное затмение наверняка. Задевая колокольню, по краю неба конницей Батья или Мамаю стремительно несутся рваные облака, низко нагнув белые косматые головы. Сквозь свист ветра слышно, как покрикивают всадники, подгоняя своих неутомимых кривоногих лошадок, и как звенит натягиваемая на полном скаку тетива. Вот сейчас, сейчас ударит набатный колокол, зайдут хриплым лаем деревенские собаки, закричат заполошно бабы, скликай ребятишек, вмиг протрезвевшие мужики, приставив заско-

рузлые ладони ко лбу, станут тревожно всматриваться в заснеженные холмы на горизонте... а пока все тихо. На всю деревню орет, настроенный на милицейскую волну, приемник Пашки Грачева. Сосед Селезнев пытается гальванизировать ржавый труп своей «Нивы» и надрывно жужжит стартером, точно пчела, нашедшая трехлитровую банку с медом. «Нива» содрогается капотом, плюется сизым дымом, но оживать не хочет. Ее можно понять – лучше заржаветь до смерти, чем снова ездить по этим дорогам. К бабке Нине привезли из города внучка-трехлетку. Он стоит возле калитки, наряженный в нестерпимо фиолетовый комбинезон и белую вязаную шапку с огромным помпоном, и дует губы так, что они, не ровен час, лопнут. Деревенские его не берут к себе играть. Бабка Нина на всякий случай грозит им всем из окошка распухшим от полиартрита пальцем. В сельскую библиотеку на воскресную службу вот-вот привезут батюшку из соседнего Зиновьева. Уже видно, как его узик буксует на повороте с асфальта на ведущую в деревню, совершенно раскисшую от снега с дождем грунтовку. На льду большой лужи у дверей библиотеки стоит скучающая ворона и от нечего делать долбит и долбит по нему клювом. Сейчас провалится.

Лучи солнца такие толстые, что их не согнуть даже изо всех сил. Снег не успевает таять и сразу испаряется. Над сугробами стоит белый пар. Возле высокого серого дома, посреди преогромной океанской лужи, по колено в сверкающей воде стоит маленький мальчик в разноцветной шапке и делает сразу два дела – подпрыгивает и хлопает по воде желтой пластмассовой лопатой. На лице мальчика написано слово «счастье» такими большими буквами, что если сложить счастье всех жильцов этого семнадцатизэтажного дома; прибавить к этой сумме счастье девушки в пяти сережках, которую за углом уже полчаса целует тонкий, как удочка, молодой человек, обнимающий ее шестью... нет, десятью руками; туда же приплюсовать счастье толстого рыжего кота, млеющего от весеннего тепла на балконе второго этажа, и радость стайки воробьев, галдящих возле оттаявшей зеленой горбушки, а получившуюся сумму записать буквами, то и тогда эти буквы будут как минимум в два, а то и в три раза меньше, чем те, которыми мальчик уже успел исписаться с ног до головы.

От талой воды воробьи пьянеют и так смотрят на воробьях, что даже галкам становится не по себе. Мухи между рамами еще спят, но уже потирают друг о друга затекшие за зиму лапки. На подоконниках стоят укрытые пленкой ящики и ящички с рассадой, на которых приклеены этикетки «Петуния одномужняя», помидор «Бычьё это вам не заячьё», зеленый горошек «Симфонический» и трава, у которой можно курить даже название – «Зайчихвостник яйцевидный». Из черной земли появились ростки, которые только под микроскопом и можно рассмотреть. Дачнику никакой микроскоп не нужен – зрение и слух у него в эти дни так обостряются, что он видит даже то, как на самых кончиках этих ростков без устали делятся молодые клетки и как прыщит во все стороны молодая, хмельная цитоплазма, в калях которой с оглушительным треском разрываются упругие клеточные ядра и неумоимо снуют хлоропласты, то и дело стучаясь о туго натянутые клеточные стенки. Теперь по вечерам дачники мечтают. Вот как мечтает будущий отец, приставив ухо к округлившемуся животу своей жены, о том, как они пойдут сыном на рыбалку или станут вместе выпиливать лобзиком маме фанерную подставку под горячую кастрюлю, а будущая мать в то же самое время мечтает о том, как ее красавица дочь выйдет удачно замуж за богатого мужчину, красавца и сироту, и даже самое слово свекровь... Вот так и дачник представляет себе будущий помидор – размером с арбуз или тыкву. Такой и солить можно будет только в бочках – в банки он не пролезет. Или взять огурец! У него даже пупырышки на кожуре будут такие огромные, которые и не у всех-то моржей бывают, когда они выныривают из полыньи не в том месте, где ныряли. Или болгарский перец, при предъявлении которого в болгарском посольстве немедленно выписывают вид на жительство, а то и болгарское гражданство. Или кабачок, который к осени вырастает

до размеров настоящего кабака с живой музыкой и эротическим шоу. Но всё это еще впереди – и посадка в грунт, и теплицы, раскрываемые и закрываемые по десять раз на дню, и не прерываемая даже на еду и сон прополка, и битва за урожай, и ходьба в штыковую и в совковую на грядки с картошкой, и крики «Меня придавило тыквой!», «Рубите морковь на куски не больше метра и складывайте в штабеля!», «Мама! Коля завернулся в капустный лист и говорит, что он слизняк. Меня тошнит!».

Дождь собирался с самого утра, но... сначала не было туч вообще, и никто не знал, куда они подевались, потом они появились, но мелкие, потом не было ветра, потом он подул, но слабо, потом подул сильнее, но гром не гремел, а глухо ворчал где-то за тридевять земель и кричал, точно старый дед к перемене погоды. Воздух стал душным и так сгустился, что шмели со стрекозами вязли в нем, как в киселе, еле-еле шевелили крыльями и гудели ниже низкого, с перебоями, а некоторые и вовсе глохли, точно у них засорились инжекторы или воздух попал в топливные шланги. Куст жасмина перед дождем пах так оглушительно, что разбудил щенка трех месяцев от роду, дрыхнувшего под ним без задних ног. Заспанный щенок, у которого одно ухо торчало, а второе безвольно висело, зевнул, потянулся, пошевелил висевшим ухом, пытаясь его поднять, не поднял, покусал себя за заднюю ногу и пошел в прохладную темноту открытого дровяного сарая спать дальше.

Проснулся, а на дворе дождь и осень. Вот весна наступает, наступает теплым ветром, ручьями талой воды, набухшими почками, чириканьем, а осень – раз и пришла. И никаких тебе примет не надо. И хоть бы листья были сто раз зеленые и дождик двести раз теплый, и даже улыбка триста раз... а все равно осень.

На опушке соснового бора, на огромной, размером с полтора облака, поляне столько ромашек... Если выкинуть те лепестки, которые «не любит», а взять только те, которые «любит», даже и не все «любит», а только те, которые «люблюнимагу», то из этих лепестков можно сделать крем для удаления морщин вокруг глаз или средство для выведения веснушек, или сварить приворотное зелье, от которого все, какие ни есть, ворота, будь они хоть железные, хоть каменные, хоть с ногами от ушей, откроются настежь без всяких разговоров.

Под ромашками прчется сладкая, красная и пахучая земляника. Если её настоять на водке при комнатной температуре неделю-другую, а потом аккуратно слить в небольшой хрустальный графинчик, который убрать с глаз долой в погреб на месяц-полтора, дожидаться дождливого осеннего дня, нажарить полную сковородку подберезовиков или белых с картошкой, вдохнуть грибной луковый картофельный пар, проглотить слюну, достать из погреба графин, налить настойку в маленькую, на один глоток, хрустальную рюмку, проглотить слюну еще раз... но лучше ничего этого не делать, а там же, на поле, натрескаться вдвоем этой земляничкой до полного покраснения губ, носа и ушей, а потом целоваться до полного... даже до самого полного и еще на пососок... то еще неделю-другую после этого можно ходить навеселе без всяких спиртных напитков.

Далеко, за ромашковым полем, в глубине соснового бора гулко ухают выстрелы: один, второй, пятый и... тишина. В лесной чаще, на маленькой, с носовой платок, полянке, сидит охотник и плачет. Его обложила семья кабанов – матерый секач с седой щетиной на свирепом пяточке и свинья с четырьмя полосатыми поросятами. Еще пять минут назад охотник был полон решимости не сдаваться в плен живым, достал последний патрон, зарядил его в свое ружье, и уже приготовился большим пальцем левой ноги нажать на курок... как решимость покинула его. Он бросил ружье в

траву, достал из кармана большой белый носовой платок и привязал его к ружейному шомполу. Сейчас он всхлипнет, высморкается в платок, встанет, взмахнет им и пойдет с этим белым флагом сдаваться кабанам. На поляне останется почти новая тульская двустволька, красивый охотничий нож с гравированным узором на лезвии и выпавший из кармана мобильный телефон, из которого будет пищать женским голосом:

– ...еще раз ты уедешь на свою идиотскую охоту на целую неделю – пеняй на себя! Там и ночуй, вместе с...

Понемногу телефон разрядится и на поляне наступит тишина, такая полная, что будет слышно, как стонет с похмелья земляничный долгоносик, объевшийся забродившей ягодой.

Комары в лесу злые и голодные. Кусают даже за объектив фотоаппарата, если фотографировать с большой выдержкой. Звереют от одного красного цвета и бросаются пить кровь из земляники, которая так стыдливо прячется под десятками резных листочков, что приходится срывать ее украдкой, точно поцелуй, который тебе поначалу никто дарить вовсе и не собирался, но потом вдруг оказалось, что в том укромном месте их целая поляна. И все, как один, нескромные. Варенье из такой земляники вызывает зависимость уже после второй чайной ложки.

Только что вылезшие из земли лисички все сестрички, ни одного братика, маленькие, нежные, желтые, с любопытством выглядывающие из-под сухих листьев. Язык не поворачивается представить их на сковородке, в кипящем масле, посыпанными колечками молодого репчатого лука, или в душной темноте чугунок, томящимися под сметаной. Для таких лисичек нужна специальная вилка с частыми, как у расчески, зубьями и мелкая, с крупную черешню, отварная молодая картошка, посыпанная нарезанным укропом, чесноком и сдобренная кусочком сливочного масла.

Теперь в лесу поспевают малина, до которой большие охотники медведи, до которых еще большие охотники охотники с ружьями, собаками и медвежьими капканами. В июле охотиться на медведей еще нельзя, но охотники выезжают в поля и леса на тренировочные сборы без ружей и капканов с одной только водкой и трехдневным запасом рассказов о своих охотничьих подвигах. Собак с собой не берут, а если и берут, то в глухих намордниках, поскольку нередки случаи, когда собака не выдерживает и начинает смеяться посреди рассказа своего хозяина о том, как он одним выстрелом...

Это конец июня – просто конец июня и больше ничего, а конец августа – это уже начало сентября. По утрам бабочкам, чтобы привести себя в порядок, приходится размахивать крыльями и разминать лапки дольше, чем обычно. Да и завтракать холодным и оттого густым цветочным нектаром удовольствия мало. Хоботок после такого завтрака натруженно болит, висит как... и свернуть его обратно нет никаких сил. В песнях кузнечиков и сверчков давно уж нет ни престо, ни аллегро – только анданте и адажио, а скоро будет и вовсе ларго. Оглянуться не успеешь, как заморозки, иней на траве, окаменевшие коровьи лепешки на проселочной дороге и анабиоз.

Мало кто помнит, что давным-давно, то ли в юрском, то ли в меловом периоде, когда даже у стрекоз был метровый размах крыльев, все насекомые были перелетными. К примеру, саблезубые кузнечики, очень распространенные в то ископаемое время, или цикады перед отлетом линяли во все новое, ярко зеленое, строились в небе клином и запевали такую жалостную прощальную песню, что даже у толстокожих и бесчувственных бронтозавров наворачивались слезы с кулак величиной. Улетали, кстати, не из-за наступления холодов, которых тогда не было, а каждое полнолуние – двенадцать раз в году. Иногда просто подует попутный ветер – тотчас взлетят, построятся, запоют прощальную песню, и поминай как звали. Да что кузнечики – обычные пчелы, которые тогда были со слезу бронтозавра величиной, собирались в неисчислимые черно-желтые тучи и летели через половину Гондваны, лакомиться цветочной пылью первых, тогда еще

очень редких, цветов. Кстати, в мезозойскую эру улетали навсегда. Тогда и весны не было, чтобы возвращаться. Возвращаться придумали птицы через много миллионов лет, а от них научились женщины и все остальные.

Часам к одиннадцати разогревает, и облака начинают шевелиться. Птицы, кузнечики и даже мухи... но вдруг ни с того, ни с сего наступит такая глубокая и проникающая, как смертельное ранение, тишина, что захочется сказать «прости». Даже «Прости!». Все равно кому – хотя бы козе, задумчиво жующей чью-то кепку, повешенную вчера на забор и забытую, но сказать обязательно и подарить искупительных тюльпанов или хризантем и повести в ресторан, где между шашлыком из осетрины и фруктовым десертом с полусладким шампанским пообещать хотя бы самому себе жениться.

Небо всё дальше, всё безразличнее. Случайно вспоротое ночью острым молодым месяцем облако не срастается даже к обеду, и из его всклокоченного нутра сыплется мелкий и холодный дождь.

Тонкий, паутинчато-невесомый аромат осеннего ветра с горькими оттенками почерневших соцветий пижмы, опавших березовых и кленовых листьев, лесными составляющими подосиновиков и мелких, с пятикопеечную монету, рыжиков. Острый смолистый запах сосновых иголок в корзине, доверху наполненной белыми. Фруктовые, сочные, брызжущие ароматы красно-полосатого штрифеля и карминового пепина шафранного. Пряная, бодрящая нота навоза на тропинке к деревенскому пруду, оставленная одинокой и грустной, как лошадь, коровой. Железный и машинный запах давно брошенной и заржавевшей бороны на заросшем мелким и частым ельником поле. Мускулистый и крепкий, кружащий и куражащий голову дух самогона, настоящего на зверобое и чабреце. Уютный, обольстительный запах румяных пирогов с капустой, теплоту и гладкость которому придают полные, округлые руки и ямочки на щеках. Хрустящий аромат соленых огурцов с нотками укропа, чеснока и листьев хрена. Жемчужное, настоящее на лунном свете, благоухание чувственных хризантем с бордовыми, оранжевыми, желтыми нотками бархатцев, синими бемолями лобелий и пронзительно красными дизеями астр. Дурманящий запах золотых пшеничных волос, нагретых последним и потому невозможно ласковым теплом. И все это в хрустальном дымчатом флаконе осеннего воздуха со стаей птиц, кружащей и кружащей среди серых туч до тех пор, пока не найдет горлышка с голубым, чистым небом и не улетит в него до весны.

Бабье лето – это последний шанс для тех лягушек, которые еще не стали царевнами. Они теперь хватаются не только за упавшие стрелы, но даже за соломинки. Да только пойдя, найди теперь Ивана-царевича. Нет, Ивана, конечно, еще найти можно, но царевича... У хозяйственной лягушки уж и вышитые рубашки для него запасены, и хлеба пышные испечены, и бутылка водки в морозилке закончена от холода, а царевич все никак жену не умолит отпустить его на рыбалку елочкой торчит в пробке на выезде из города. Или не в пробке, а в бутылке. Теперь такие царевичи... Пока до болота доберется – бабье лето и кончится. Бывает так, что их и вовсе не случится. Ни царевича, ни бабьего лета. Царевич подумает, подумает да и вернется к жене, а вместо золотой осени зарядят бесконечные дожди. Только и приснится лягушке какой-нибудь сон про то, как стоит она одна-одинешенька посреди бесконечного скошенного поля под серым, в тяжелых тучах, небом. Вокруг нее печальные ромашки, на которых так и не оборваны лепестки, кузнечики, поющие свои лебединые песни, и желтые листья, листья, листья, падающие, точно снег. И ни одного дерева вокруг – ни березы, ни клена, ни даже елки. Проснется она вся в слезах и будет лежать в темноте, с открытыми глазами, и гадать к чему это поле, эти ромашки, эти кузнечики и эти желтые листья. Так ничего и не нагадает. Заснет к утру, напившись корвалолола, через час встанет и невыспавшаяся, с тяжелой головой, пойдет на работу.

Настоящий грибник сейчас даже спать ложится с лукошком, и снится ему, что он идет и косит белые с подберезовиками косой. Может, конечно, присниться и наоборот – пришел он в лес, свистнул особенным, созывающим грибы, свистом, и они прибежали все до единого и встали пред ним, как лист перед травой, но шляпки в спешке забыли надеть. Ночью шарит он под подушкой в поисках особенно мелких опят или рыжиков и до самого утра не успокаивается, пока жена не толкнет его в бок. Это – если злая, а добрая вложит ему в руку припасенный с вечера кусочек сушеного подосиновика или даст его же понюхать – муж и затихнет. Что же до обычных людей, то у них сны осенью просто удлиняются и приобретают цвет сепии, а к зиме и вовсе становятся бесконечными и черно-белыми. У прудов и даже луж с началом осени появляется задумчивое выражение лица. Дожди мельчают и становятся вдоль себя длиннее. Осенние письма длиннее летних, в среднем, на три, а то и на четыре прощальных предложения*. Начиная с первого дня бабьего лета, дольше смотрят вслед при расставании, а когда бабье лето кончается, то к взгляду присоединяют тяжелый вздох, а то и слезу. Удлиняется и обед. К нему прибавляются разные закуски, вроде грибной или баклажанной икры, к чаю прибавляются пончики с повидлом, шарлотки с яблоками, вишневые наливки, смородиновые настойки, тайком расстегнутые пуговицы и долгие разговоры о таком количестве мешков выкопанной картошки и запасенных на зиму трехлитровых банок с солеными огурцами, маринованными помидорами и связок с сушеными грибами, которого, кажется, хватило бы не только на зиму, но даже и на небольшой ледниковый период. Если летом не читают ничего, кроме туристических путевок и авиабилетов, то уже в начале сентября начинают просматривать, пусть и невнимательно, газеты и не очень толстые журналы – обычно те, которые можно легко свернуть в трубочку, чтобы бить ими сонных осенних мух. К Покрову, когда мухи уже спят, понемногу переходят на небольшие книжки рассказов в мягких обложках, с таким, однако, расчетом, чтобы в конце ноября быть готовым к толстым романам и даже двухтомникам**. Впрочем, до зимы еще далеко, и пока можно ограничиться употреблением в повседневных разговорах оборотов вроде «не май месяц на дворе» или «пора, наконец, пересчитать цыплят», или универсальным «что-то стало холодать – не пойти ли нам...».

Проездом...

...был в родном городе Серпухове. На рыночной площади построили отель с иностранным названием. Тридцать или даже сорок этажей зеркальных стекол. Внизу магазины, кафе и рестораны. Пил я там чай с иностранным кексом и думал, что лет сорок или даже сорок пять назад на этом самом месте у бочек с солеными огурцами стояли шумные разноцветные торговки; бродили в своих плюшевых юбках цыганки и гадали, просили на молоко детям, успевая при этом торговать петушками на палочке; небритые мужики в телогрейках дымили папиросами «Беломорканал» и предлагали кухонные краны, прокладки, рыболовные крючки, ржавые болты и гвозди; стояли бабушки с оренбургскими пуховыми платками и шерстяными носками домашней вязки. Мне, пятилетнему, тогда купили вместо щенка двух маленьких золотых рыбок в пол-литровой банке. Дома я их пересадил в трехлитровую и двадцать раз в день подсыпал им сушеного рыбьего корму. Мне очень нравился запах этого корма. На вкус-то он оказался гораздо хуже. Через неделю, много две, рыбки умерли, вероятно, от переедания. Сначала-то я думал, что они просто устали и плавают кверху животами. Потом думал, что заболели, потом стал подозревать самое страшное и стал помогать своему горю слезами. К счастью, с работы пришла мама и утешила меня, сказав,

* Кстати о письмах. Софья Андреевна жаловалась как-то в письме Черткову на Льва Николаевича, что косить-то он горазд, а вот помочь осенью выкопать картошку его не допросишься.

** Ученые подсчитали, что над толстым романом можно проспать самым глубоким сном не менее часа-двух, в то время как над газетой только дремать, да и то не более пяти или десяти минут.

что они просто приболели в неволе. Лучше их отпустить в Оку. Там они поправятся. До реки надо было ехать долго на автобусе, а потому мама предложила, не мешкая, спустить их в унитаз, чтобы они сами, гораздо быстрее любого автобуса, доплыли до своего дома... Теперь, конечно, прогресс и макдональдс, а тогда, в моем детстве, не было ни того, ни другого. Разве это прогресс, когда за пятак я мог невымытой рукой залезть рукой в бочку с мутным рассолом и выбрать себе соленый огурец или за шесть копеек пить из огромной пивной кружки квас до полного изнеможения и икоты? Никакой это не прогресс, а самое обыкновенное счастье. Бог его знает, куда оно подевалось. И огурцов соленых полно в аккуратных банках с разноцветными этикетками, и квас можно купить в красивой стерильной бутылке, а не пить его из плохо вымытых стеклянных стаканов, толпясь в очереди у железной бочки, а... как случилось, что прежние дни были лучше этих, толку спрашивать никакого. Ибо не от мудрости мы спрашиваем об этом.

Идет снег. На входе в метро, между дверями, вжавшись в решетку, из которой дует теплый воздух, стоит чернокожий распространитель рекламы в позе цыпленка табака и греется. Он рекламирует школу танцев на улице Хачатуряна. У него длинный вязаный шарф, которым он обматывается с головы до ног, и гусиная от холода, иссиня-черная кожа. У него под прикрытыми веками голубое небо, мускулистые баобабы, вкрадчивые стремительные пантеры и гепарды, гибкие острогрудые девушки из настоящего горького шоколада. Они расписаны разноцветной глиной и одеты в бусы из мелких перламутровых раковин, делающих переливчатое «клик-клик» в такт... Снег не кончился. Пора выходить на улицу.

Мелкий, невидимый в темноте, дождь. Гаишник закончил свои обмеры, курит и говорит с кем-то по рации. Рация его не слушает и, не переставая, сипло бормочет о своем. Скорая завывала и уехала. Тихо. На разбитой машине пульсирует жилка поворотника.

К концу второго часа в кресле стоматолога я уже не лежу в нем, но валяюсь. Слышу, как доктор говорит сестре строго:

– Катерина! Быстро дай мне зонд.

Катерина звякает инструментами.

– Быстрее! – поторапливает врач.

Тут он скашивает на меня глаза, еле заметно ухмыляется и повторяет:

– Быстрее. Да не вошкайся! Видишь, он еще живой.

Потом, когда мне объявили перерыв минут на пять и разрешили посидеть с закрытым ртом, в кабинет постучалась и вошла худая женщина в норковом жилете. Она хотела, чтобы ей имплантировали зубы. Врач отказывался, объясняя это тем, что после двух удалений у нее просто нет в нужном месте верхней челюсти костной ткани. Женщина просила сделать какую-нибудь искусственную пробку в челюсть, а уж в нее вкрутить импланты. Врач ей стал рассказывать о том, что такая пробка может и не прижиться, что еще не придумали... Женщина не унималась. В сердцах врач воскликнул:

– Ну не в мозг же вам эти импланты вставлять! Он мягкий и губчатый.

Я подумал и ляпнул не подумавши:

– В костный мозг можно было бы попробовать.

Врач скосил на меня глаза, еле заметно ухмыльнулся и сказал:

– Да ты и правда живой. Рот давай раскрывай, специалист по костяному мозгу.

На «Баррикадной» в вагон вошла нищенка с огромным рентгеновским снимком, свернутым в трубочку. Вошла, развернула его, как полковое знамя, и стала убеждать нас громким железным голосом через мегафон дать денег на лечение. Точно так же и подавших благодарила через свой матюгальник. Я подумал, что в недалеком будущем весь этот примитив уйдет в прошлое. Зайдет человек, нуждающийся в срочном лечении или отставший от поезда, самолета и ракеты в вагон, по вайфаю или блютузу загрузит в наши телефоны, айпады и нетбуки свою презентацию в пауэрпойнте, где показано, как улетает его ракета и уплывает корабль, или весь он в бинтах с ног до головы после перенесенной диареи, а мы ему вебманьями или на яндекс-кошельки кинем сколько не жалко. Тут же пришет он нам благодарственные смс-ки и перейдет в другой вагон.

В одном из отдаленных сельских приходо^{*}в то ли владимирской, то ли костромской, то ли ивановской, то ли все равно какой епархии, служил священником... да и сейчас там, кажется, служит. Надобно сказать, что служба сельского священника теперь состоит не только из молитв, крещений, венчаний, соборований и прочего, но из огромного количества отчетов, которые батюшка должен ежеквартально, а то и ежемесячно отправлять епархиальному начальству. Бог его знает, отчего так бюрократилось церковное руководство. Может, от того, что вступило в близкие и даже интимные отношения с нашими светскими властями, у которых на каждый чих есть справка или постановление, или указ, а может, на одном банкете пили и ели они из общей посуды и бытовым путем им передалось...

Короче говоря, обязан был наш батюшка писать не только отчеты, но и, с позволения сказать, перспективные планы – сколько рабов Божьих собираетс^{*}я он, к примеру, в будущем году окрестить, обвенчать, исповедать, соборовать и, не приведи Господь, отпеть. Сельские батюшки народ смиренный – если велено, то и пишут. И этот, человек немолодой, писал, писал... да и не вытерпел. В один прекрасный день, получивши очередную бумагу с планом, поверх всех граф написал, что всех, сколько ни есть, своих прихожан планирует окрестить, обвенчать, исповедать, причастить, соборовать и отправить в Царствие Небесное. Бумагу запечатал и отправил куда следует. Вздохнул, перекрестился и забыл.

Через малое время откуда следует приехала в эту глухую деревню комиссия аж на двух машинах. Вышло из машины четверо или даже пятеро священноначальников животами вперед и проследовало в храм, а потом в дом батюшки. Учинила комиссия обыск. Искали причины такого вольнодумства и манкирования служебными обязанностями. Выясняли – нет ли у батюшки какой-либо запрещенной сектантской литературы, не сектант ли он сам, не служит ли он молебны тем, кого официальная церковь не признает святыми, не злоумышляет ли против властей, не... даже за печную заслонку заглядывали.

Все то время, пока обыскивали храм, дом и допрашивали батюшку, машины стояли у крыльца. В глухой деревне, в которую кроме трактора или грузовой автолавки раз в неделю, а то и реже, ничего не приезжает, две городских легковых машины иностранного производства могут вызвать приступ неудержимого любопытства, особенно у детишек... каковые, в количестве трех или четырех так и вертелись возле этих самых машин. Не прогнал их даже летний ливень. Мальчишки эти, перед тем как прибежать к машинам, собирали по деревне цветные металлы, чтобы потом их сдать куда надо и получить копейчку, на которую купить то ли леденцов, то ли одну на троих сигарету, то ли мятных пряников. В руках у одного из них был небольшой мешок с подобранными цветными металлами. Был ли это самоварный кран или вентиль от трубы, подобранный без ведома хозяев, или даже блестящая гайка, открученная с одной из машин – история умалчивает. Когда на крыльцо вышло четверо или пятеро мрачных мужчин в черных одеяниях, с большими

** Признаюсь, я не был свидетелем этой истории, но людям, которые мне ее рассказали, доверяю как себе.*

блестящими крестами – мальчишки почему-то решили, что видят их с этим мешком насквозь и сейчас же под грязные руки в цыпках отведут туда, откуда им родной деревни долго не увидеть. Бросили они с перепугу мешок со своими сокровищами под колеса одной из машин, и давай, как говорится, Бог ноги.

Комиссия со своей стороны, увидев мешок под колесами и улепетывающих детишек, почему-то решила, что это теракт. Почему она так решила – не знаю. Может, увидела у того мальчишки, что бросил мешок, огромную черную бороду, или... Нам, признаться, это не интересно, а интересно то, что после крика «Бомба!» легла комиссия в полном составе, как подкошенная, лицами и немалыми своими животами прямо на дорогу, раскисшую от недавно прошедшего дождя.

Тут бы надо сделать какой-нибудь вывод о том, что Бог шельму или даже нескольких шельм метит или о том, что Бог виноватого найдет, или обидчика Бог судит... но это уж вы сами делайте, коли охота.

Оказывается, Меншиков был такого же росту, как и Петр Алексеевич – два метра и четыре сантиметра. Представилась мне картина – идут Петр и Меншиков, а навстречу им Путин и Медведев...

Напротив меня сидит помятый, потерявший на многочисленных сгибах человек и спит. Видно, что он вчера устал. Может, даже целую неделю находится в состоянии сильной усталости. Подъезжаем к «Чеховской». Человек разлепляет в глаза и лезет в стоящий у его ног полиэтиленовый пакет. Гремит там стеклом, упихивает высунувшуюся упаковку пластиковых стаканчиков и, наконец, достает туалетную воду без колпачка, расстегивает засаленную куртку, брызгает этой туалетной водой с невообразимо сладким запахом на такой же засаленный свитер и такую же засаленную шею, передергивает острым кадыком, застегивает куртку, прячет спрей в пакет и снова засыпает. На «Нагатинской» человек просыпается и выходит.

Бабье лето в Москве – это тонкая, точно флейта, на которой она играет, девушка у входа в метро на станции «Полянка», это медленно выплывающая из флейты в голубое небо еще более тонкая серебристая ниточка мелодии под небом голубым есть город золотой с темнокожим продавцом роз по триста рублей за десяток, с полупьяным нищим, одной рукой собирающим подавание, а другой прикуривающим сигарету от зажигалки, со старухой, торгующей белыми грибами, и тихим вечерним звоном с колокольни храма Григория Неокесарийского.

На платформе «Маленковская» в электричку вошла необъятных размеров женщина с мешком обложек для документов. Пластиковый чехол для студенческого билета стоил полсотни рублей, такой же, но из натуральной кожи – сотню, а две с половиной сотни пришлось бы заплатить за чехол из «натуральной кожи ягуара». Вот как жестоко устроен этот мир! Сегодня ты красивая и сильная кошка, вольно живущая на жарких и влажных берегах Амазонки или Ориноко, а завтра из твоей кожи понаделают чехлов для студенческих билетов в далекой, заснеженной России...

Трескучий мороз. Далеко в поле, в засыпанной снегом колее, сантиметрах в двадцати от входа в мышиную нору лежат три заледеневших и скрюченных обрывка еще прошлогоднего, осеннего разговора. Тот, который подлиннее – «Включай пониженную, Санёк!», а тот, что покороче – «...за трактором». От третьего и вовсе ничего не осталось, кроме местоимения «твоею».

...выезде из города свет фар выхватывает на несколько секунд из галактической тьмы облупленную стену выкрашенной в желтый цвет сталинской двухэтажки с перекошенным окном во втором этаже, за которым стоит облупленный сервант возраста я уже на пенсии, но еще работаю. На верхней, стеклянной полке этого серванта помещается белая синяя красная с золотом многодетная фарфоровая рыба-бутылка с пробкой во рту и шесть ее мальков-рюмок без пробочек. Их оставила деду Пете Лиза из пятой квартиры, когда они с мужем и дочерью уезжали в восемьдесят шестом в Израиль. Лиза так плакала, что дед Петя насобирав полные рюмки ее слез и потом пил до тех пор, пока не выработал стаж, вышел на пенсию, уехал в деревню к двоюродному брату и, засмотревшись на уплывающие облака, закружился головой и умер, а городскую квартиру завещал племяннице, которая вот только сейчас приехала, поднялась по пропахшей кошками лестнице, открыла обтянутую вытертым дерматином дверь, вошла, включила свет фар уже ощущает обледенелое шоссе, мелькающие кривоногие дорожные знаки и спрятавшуюся в придорожных кустах машину гаишников, один из которых обмахивает свою полосатую палку пятисотенной бумажкой, только что полученной от беспечных проезжающих за превышение скорости, а второй...

Тополиный пух. Девушка в разноцветных росчерках бретелек кружит вокруг юноши. Сжимает кольцо.

Синее молоко сумерек. Из оврага выполз язык тумана и слизывает один придорожный куст за другим.

За окном мороз, и на заиндевевшем стекле черными тенями веток нарисован иероглиф «собачий». В комнате, замшевой от серых сумерек, тишина, жалобно подвывающая печной трубой, растение «Ванька мокрый» с маленьким полузасохшим цветком и спящая птица чижик в клетке. Чижик вздрагивает на своей жердочке – плавает во сне. Шевелит несуществующими плавниками, переливается перламутровой чешуей, стремительно ныряет, обгоняя медлительных пескарей и пугливых уклек. Поет под теплой и прозрачной, как небо, зеленой водой, поет во все горло и захлебывается от счастья. Ловко уворачивается от длинной щуки с ее длинной зубастой пастью, которой злодейка шелкает в сантиметре от тщедушного чижикова тельца! Выбиваясь из сил, чижик бесконечно плывет, плывет, плывет вверх, еле шевеля свинцовыми плавниками, и наконец выскакивает из воды, взмахивает крыльями, летит, летит, летит, просыпается, не может отдышаться, мелко дрожит, жадно пьет теплую воду из поилки, машинально щиплет увядший листик салата и снова засыпает... За окном мороз и на заиндевевшем стекле черными тенями веток нарисованы два иероглифа: «спи» и «завтра рано встать».

Лет через пятьсот или тысячу голливудские фильмы про Клеопатру или Спартака будут показывать уже как кинохронику древнеегипетских и древнеримских времен. Ну, может быть, будет небольшая путаница между мужьями и любовниками египетской царицы и Элизабет Тейлор.

Через каких-нибудь восемьсот лет мы будем праздновать тысячелетие принятия Россией Салата Оливье. К тому времени слово салат исчезнет из употребления – останется только оливье с маленькой буквы как имя нарицательное. Так и будет говорить – оливье греческий, оливье мимоза или оливье винегрет. Вроде как слово путин будет всегда обозначать слово президент, которое

к тому времени тоже выйдет из употребления. В ознаменование этой круглой даты в Москве установят памятник, который будет представлять собой гигантский бронзовый таз, наполненный доверху оливье и огромного бронзового мужчину, спящего в этом оливье лицом. Денег все это будет стоить несусветных. В ходе народного обсуждения проекта некоторые москвичи даже предложат нагнуть уже имеющуюся статую Петра Великого. Просто подставить ему под лицо таз – и дешевле обойдется, и панораму наконец-то портить не будет. Но власти специальным указом запретят жалеть народные деньги. В Конституцию впишут специальную статью, в которой будет подробно расписан канонический состав оливье. Перед этим, конечно, состоятся бурные дебаты в Думе. Либералы внесут проект рецепта, содержащий мясо рябчика, оливки, каперсы, паюсную икру и телячий язык. Правящая партия будет настаивать на курице вместо рябчиков и зеленом горошке вместо икры. Коммунисты же всей фракцией будут голосовать за докторскую колбасу и соленые огурцы вместо свежих. Согласительная комиссия прозаседает два месяца и сможет договориться только об одном ингредиенте, который устраивает всех – водке майонезе «Провансаль». Дело дойдет до народного референдума, в ходе проведения которого обнаружатся страшные приписки в пользу курицы и зеленого горошка. Впрочем, больше всего голосов будет подано за водку, которую власть накануне тайно внесет в бюллетени, чтобы отвлечь народ от справедливой классовой борьбы. Немедленно несистемные салатники призовут народ на митинг. Оповестительным знаком несогласных будет белая капля майонеза на груди. На Болотной площади соберется тысяча пятьдесят или сто с лозунгами «Путин уходи!», «Даешь честный оливье!». Президент в ходе ежегодного телемоста скажет, что принял белую каплю на одежде то ли за птичий помет, то ли вообще за неприличное. В ответ митингующие выйдут на проспект Сахарова с портретами Путина то ли засранными голубями, то ли вообще...

Корпоративный Новый Год... Любите ли вы корпоративный Новый Год, как люблю его я, то есть всей увеличенной печенью вашей, всей больной на утро головой, всем эскадроном, ночевавшим во рту и со всем энтузиазмом, на которое только способна молодость и неспособна старость, но все равно... Любите ли вы обстоятельный доклад директора о результатах года, после того, как вышли уже все пузырьки не только из бокалов с шампанским, но и из рюмок с водкой? А, может, вам нравятся конкурсы, в которых нужно зажать коленками бутылку и втиснуть ее в не очень трезвые толстые колени зама по кадрам или первым раздавить воздушный шарик чугунным задом финансового директора? Или вы заранее подготовились к вопросам хитроумнейших викторин и даже после шампанского и водки можете быстрее сисадмина и завскладом ответить – сколько стран принимало участие во второй мировой войне? Или вы ждете не дождетесь перерыва между горячим и сладким, чтобы под чарующие звуки песен Шуфутинского и Антонова содрогаться в танцах с вечнонезамужними девочками из отдела продаж? Впрочем, может, вы человек скромный и стеснительный, который любит вдаль от сверкания разноцветных огней, декольтированных женщин с тонкими сигаретами и мужчин в лакированных остроносых туфлях, тихо спать, уткнув лицо в блюдо с колбасной нарезкой и половинками маринованных огурцов? Что же такое, спрашиваю вас, этот корпоративный Новый Год? Возможно ли описать все его очарование? О, ступайте, ступайте в ресторан, в загородный дом отдыха или турбазу, заботливо арендованную администрацией вашей конторы на одну ночь. Упейтесь там в дым и обожритесь до желудочных коликов, живите полной жизнью вечером и ночью, а утром, если сможете, умрите от жажды, тошноты, головной боли и мучительной неспособности вспомнить, как вы оказались в одной постели с главбухом – пожилой, семейной и усатой женщиной, у которой уже двое внуков.

В том углу рынка, где торгуют котятками, щенками, живой птицей и поросятами, сидела женщина, продававшая трех белых, лохматых, точно южно-русские овчарки, кур. Покупатели, долж-

но быть, еще не подошли, и женщина пила чай с огромной ватрушкой. Творог из нее она выскребала чайной ложкой и давала клевать курам. Глупые куры часто клевали мимо ложки. Женщина складывала губы трубочкой и вытягивала их к чайной ложке, чтобы подать курам пример. Все равно получалось не очень хорошо. Женщина облизывала с ложки остатки творога, снова наскребала ее полную и протягивала курам... Она их продаст, придет домой и потом месяц не сможет видеть этих ватрушек без слез.

У выхода из подземного перехода на «Южной» сутулый мужчина играет на саксофоне «Клен ты мой опавший», и от этой мелодии леденеет чернокожий, раздающий рекламу то ли стоматологической клиники, то ли салона загара. Замотанная в платки бабка то ли торгует вязаными пинетками, то ли просит милостыню. В пыльном сером небе кружит и кружит стая желтых листьев то ли улетающих на юг, то ли решивших остаться. Полезешь в карман за сигаретами, а там тоже осень.

На выходе из метро «Отрадное», том, что на улице Пестеля, старушка в джинсовом вареном пиджаке, с палкой и табличкой «Помогите на лечение я очень больна пенсии не хватает», говорит огромному чернокожему детине, распространяющему рекламу «Школа танцев свобода самовыражения стрип-пластика атмосфера карнавала»:

– Бог тебе судья...

Предгрозовая духота. Голодная цапля на длинных, стройных ногах замерла у входа в ресторан и краешком безжалостного глаза наблюдает за большой и толстой жабой, неосторожно квакающей из окна своего ленд круизера.

Миниатюрная белая голубая темно-вишневая девушка как продолжение букета из фиолетовых желтых бордовых ирисов, который она держит в тонкой полупрозрачной руке.

Мало, кто знает, что навоз божьих коровок – самое эффективное удобрение на свете, поскольку совмещает в себе питательные свойства обычного навоза и птичьего помета, гуано. Лучше всех это знают муравьи – они собирают этот удивительный навоз для подкормки цветочных тлей, которых они разводят для получения сладкой пади. В России первым обратил внимание на ценные свойства насекомого навоза в начале девятнадцатого века русский энтомолог-самоучка Карл Федорович фон Лямке, предки которого приехали к нам еще при Екатерине Великой. В своем имении под Саратовом он разводил божьих коровок и собирал их навоз. Это был титанический труд. Достаточно сказать, что одна обыкновенная русская семиточечная божья коровка, даже если ее кормить на убой тлями, дает в сутки не более десятка миллиграмм навоза. Бразильская двадцатидвухточечная дает всего лишь в полтора раза больше. Насобирав несколько грамм драгоценного удобрения, Карл Федорович принялся его исследовать. Посредством экстракции хлороформом, перегонки экстракта с водяным паром и дробной кристаллизацией сухого остатка, ученый выделил действующее вещество навоза, которое назвал гуанозином. К известному слову гуано он прибавил имя своей супруги Зинаиды, которая ко времени открытия гуанозина сбежала от Лямке, не вынеся постоянного присутствия божьих коровок в супе, чае и супружеской постели. Экспериментируя с растворами гуанозина, ученый выяснил, что микродозы вещества помогают живым организмам не стареть. Поливая раствором гуанозина помидорную рассаду, Лямке вывел

сорт вечнозеленых помидоров. Случайно этого раствора наакался котенок, живший в доме Карла Федоровича, и на всю жизнь так и остался котенком. Сам Лямке, будучи страшно рассеянным, как и все естествоиспытатели, не заметил этого, но его экономка, молодая и шустрая бабенка, будучи в курсе всех экспериментов с гуанозином... Через три года неустанных экспериментов с котятками, щенками и женщинами бальзаковского возраста была выведена и запатентована формула эликсира Лямке. Финансовые перспективы предприятия представлялись столь блестящими, что даже неверная супруга Карла Федоровича, легкомысленная Зинаида, прослышав об этих самых перспективах, уже была готова вернуться к нему... Увы, все погубила нелепая случайность. В один прекрасный день Лямке, перепутав графины перед обедом, по ошибке выпил тройную дозу эликсира, и его биологические часы не только остановились, но и пошли в обратную сторону, причем с такой скоростью, что уже через месяц тридцатипятилетний Карл Федорович в возрасте восемнадцатилетнего безусого юнца ушел из дому куда глаза глядят, унося с собой формулу своего гениального открытия. Дальнейшая судьба его неизвестна. По непроверенным данным, он окончил свои дни эмбрионом в утробе солдатской вдовы, крестьянки деревни Петровки Галичского уезда Костромской губернии Прасковьи Ивановны Калюжной. Что же касается гуанозина, то он был вновь открыт через много лет, совершенно другими людьми, в другой стране и с совершенно другими свойствами.

Город Великий Устюг. То же самое, что и Тула, но вместо самоваров утюги. Музей русского утюга. Средневековые боевые утюги с pedalным приводом и острым паром, оставившие после себя выглаженную и выжженную землю. Крошечные утюжки для разглаживания морщин. Утюг для подводного плавания. Пыточный утюг с подошвой, покрытой абразивом. Старинные парные крестьянские деревянные утюги второй половины восемнадцатого века, которыми целомудренные жених и невеста гладили друг друга до свадьбы. Купеческий картуз-утюг на гагачьем пуху и наборной деревянной ручкой. Утюги-сороходы. Семь декоративных мраморных утюжков мал мала меньше. Первый электрический утюг с ручным приводом. Мужской утюг для заглаживания вины перед женой.

Две сказки

Одному мальчику мама велела сходить в магазин и купить буханку черного, литр молока и полкило краковской колбасы. Мальчик, которого звали Петя, пошел и купил. Да хоть бы и Вася его звали – все равно пошел и купил бы. Мама у Пети была строгая. По дороге домой он отгрыз, конечно, горбушку и перочинным ножиком отрезал немного колбасы. Не себе! Дворовой собаке Найде и Костику из второго подъезда, а потом уж себе. Принес домой, поставил бутылку с молоком в холодильник и туда же запрятал остатки колбасы. За кастрюлю с борщом. Потом походил полчаса и решил вместо обязательного на обед борща и котлет с макаронами отрезать еще кусочек, чтобы уж было, за что его наказывать родителям, когда вернутся с работы. Развернул он бумагу,* в которую колбаса была завернута, и ахнул – перед ним лежало ровно полкило краковской. Точно и не отъедали от нее ни Найда, ни Костик, ни он сам. Петя взял нож и отрезал еще один кусок. Ничего не произошло и не происходило целую минуту, а потом вдруг колбасы стало столько же, сколько и было до отрезания. Тогда мальчик еще раз отрезал кусок колбасы и подождал минуту. И стало два куска колбасы – один отрезанный, а другой из магазина, длиной в полкило. Петя подумал-подумал и обычную колбасу положил обратно в холодильник, а волшебную спрятал за пазуху и побежал во двор.

* Это очень старая сказка. В те далекие времена колбасу в магазинах еще заворачивали в бумагу. Конечно, когда она там была.

Когда Найда и друг Костик из второго подъезда уже смотреть не могли на колбасу, мальчик пошел кормить котенка Мишаню своей одноклассницы Веры, а Костик, которому Петя надавал с десяток больших кусков колбасы, пошел кормить собак и кошек в соседний двор.

Через неделю, когда все окрестные собаки и кошки были накормлены, и даже у Петиного соседа по лестничной площадке, алкоголика Сергея Семеновича, в кои-то веки появилось вдоволь закуски, Петя и Костик стали советовать, как быть дальше. Решили отправиться в Африку, чтобы накормить тамошних голодающих. С собой в дорогу взяли только хлеба, чтобы можно было делать бутерброды с колбасой.

По пути, в городе Конотопе, ребята спасли от голодного обморока льва Михалыча из передвижного зверинца и даже оставили ему небольшой запас колбасы.

В Африке мальчики сели на пароход и поплыли по рекам, щедро оделяя голодающих африканцев краковской колбасой. В одной из стран, кажется, она называлась то ли Верхняя Вольта, то ли Нижний Ампер, аборигены так набрались сил, перейдя на трехразовое колбасное питание, что подняли восстание против своего императора-людоеда Пикассы. Император неоднократно подсылал к Пете и Косте своих шпионов, чтобы те украли волшебную колбасу или купили ее, но друзья были тверды – колбаса является народным достоянием и не может принадлежать никакому императору или президенту.

В конце концов, у мальчиков устали руки резать колбасу, да и родители по ним соскучились. И надоела им, если честно, эта колбаса хуже горькой редьки. Приехали они домой, да и сдали колбасу в институт космического питания. Там как раз ученые голову ломали над тем, что дать с собой в дорогу космонавтам, которые летят на Марс. Сначала ученые, как и полагается всем ученым, поизучали немного механизм отрастания колбасы и даже попробовали на молекулярном уровне его воспроизвести у разных простейших организмов вроде инфузорий-туфельек и мышей. Сделают, к примеру, инфузории специальный укол, в котором содержится вытяжка из волшебной колбасы, и потом отрежут у нее туфельку. Не у колбасы, а у инфузории, конечно. И смотрят, как у нее отрастает новая. С мышинными хвостиками они тоже так поступали. И все отрастало! Правда, из колбасы... Особенно смешно было смотреть на мышей – они норовили все время съесть свой хвостик. Так и крутились на одном месте, так и кусали себя за хвост, который снова отрастал. В конце концов, мыши умирали от переедания. Тогда ученые прекратили все эти ужасные опыты, быстро отдали колбасу отлетающим на Марс космонавтам и вздохнули с облегчением. Космонавты тоже вздохнули с облегчением – у них в ракете освободилось много места для научных приборов и книг.

Космонавты радовались этому все шесть месяцев своего полета на Марс, а когда высадились на берегу марсианского моря Костромской Сырт, то единогласно решили выбросить эту колбасу к чертовой матери – так она им надоела. Пришлось потом для них с Земли посылать специальную продуктовую ракету с сухарями, чтобы... а может и не было ничего этого. То есть совсем ничего. Пришел Петин папа домой с работы и съел все полкило принесенной из магазина колбасы. Вместе с хвостиком. Что с ним потом было... Но это уж совершенно другая история, о которой я и знать не знаю.

У одного мальчика были ручные мурашки. Не муравьиные дети, а именно мурашки. Они, кстати, еще меньше. Вот как бывают ручные мыши или щеглы – вот так у него были мурашки. Сначала-то они были дикие, как у всех. Мы рождаемся с дикими мурашками, а потом они у нас так и остаются дикими. Бегают куда хотят и когда хотят. Их никто и не приручает. Возни много, а толку, считай, что никакого. Тапки они не принесут, на посторонних лаять не будут, хвостом при твоём появлении вилять и не подумают. То есть, они, может, и подумают, но хвост этот, поди

еще разгляди. Короче говоря, за приручение их никто и не берется, а вот мальчик, которого звали Юра, взялся. Уж не знаю почему – может, у него было много времени, а может, он решил стать знаменитым дрессировщиком львов или тигров и подумал, что надо же с чего-то начинать. Щенка ему родители не разрешили держать, мышшей боялась мама, а папа не любил щеглов. Одно время Юра хотел приручить муху и даже стал разучивать с ней простейшие фигуры низшего пилотажа, вроде посадки на край чайного блюдца или папе на лысину и даже добился некоторого успеха – муха, которую Юра назвал Осей, по команде садилась папе на голову и по команде взлетала. Правда, она это делала не каждый раз и не в центр лысины, как хотелось Юре, который был аккуратным мальчиком и все делал по линейке. Проще всего было бы, конечно, начертить папе на голове точку прилысения, но беседовать с папой на эту тему Юра не решился. После каждой удачной посадки и взлета Юра подставлял Осе в награду розетку с вареньем. Нужно было повторять и повторять посадку и взлет, чтобы закрепить навык. Если бы не папа, однажды прихлопнувший Осю, свернутой в трубку газетой...

Получалось, что мурашки – самый удобный объект для приручения. Во-первых, они всегда с тобой, во-вторых, их никто не видит и можно заниматься дрессировкой хоть на уроке математики, а в-третьих, мурашки не лают, не мяукают, не чирикают и даже не жужжат.

Через три месяца упорных тренировок Юра получил двойку за четвертной контрольный диктант... то есть я хотел сказать, что начали появляться первые результаты дрессировки. Юра научился будить мурашек и добился того, что они бежали в указанное им место. Побежали они, правда, не сразу – сначала шли медленно. Нехотя шли, но к тому моменту, когда учительница вызвала Юрину маму в школу, чтобы поговорить о трех двойках по математике, мурашки бегали по Юре как заведенные. Мало того, Юра научился сам себя щекотать при помощи мурашек. Это, между прочим, очень удобно. Допустим, тебе скучно или невесело. Достаточно одной команды и... учительницу затрясло от щекотки и смеха, когда она раскрыла классный журнал, чтобы показать Юриной маме двойки. Как Юре удалось напустить своих мурашек на учительницу – понятия не имею. Они еще и вернулись все как одна обратно к Юре. Это уж и вовсе чудеса дрессировки.

Двойки, конечно, потом все равно пришлось исправлять. На папу своих мурашек Юра не рискнул напускать. Щекотки папа не боялся, а вот Оля из параллельного класса ее очень боялась. Тут надо признаться, что Оля не только боялась щекотки – она еще нравилась Юре...

К окончанию школы Юра научился пускать мурашек девочкам не только для щекотки. Однажды, на уроке математики, его одноклассница Маша, которая носила такую короткую юбку... или это уже была лекция по теории вероятностей и его однокурсница Света, у которой была такая обтягивающая блузка... или совещание у директора и его секретарша Ксения, у которой была такая короткая юбка и такая обтягивающая блузка и на этой блузке такое декольте...

Платье на невесте было таким пышным, что под его кружевами разместились все Юрины мурашки. В тот день и в ту ночь они просто с ног сбились. Уже засыпая, Юра стал по привычке звать их домой, в места, так сказать, постоянной дислокации, в ложбинку под левой ключицей и... не дозвался. Сон мгновенно слетел с него, и он стал в темноте осторожно проводить ладонями по телу Ксении. В темноте он даже не увидел, а скорее, почувствовал, как открыла глаза жена...

– Даже и не думай, – железным голосом произнесла она. – У меня теперь будут жить. Все. До единой.

На самом деле все было не так. Когда Юру увольняли за невыполнение квартального плана продаж... Нет, не так. Когда босс уволил Юру за роман с секретаршей, Юра, уже собрав свои нехитрые пожитки в коробку из-под лазерного принтера, зашел в дирекцию, чтобы попрощаться... чтобы сказать Ксении... чтобы забрать своих мурашек, которых он дал ей поносить на время.

– Какие мурашки? Не знаю я никаких мурашек, – ласковым голосом...

На заднем дворе кинотеатра «Байконур», рядом с прикрепленным к шершавой стене большим ящиком кондиционера, стоит мужчина. Он пьет пиво и читает книгу. Возьмет бутылку, отхлебнет, поставит ее на кондиционер, прочтет страницу, перевернет ее, возьмет бутылку, снова отхлебнет... Судя по тому, что на ящике стоят уже три бутылки пива «Охота. Крепкое», мужчина уже довольно здорово начитан. Почему-то очередная страница не переворачивается. Мужчина плюет на палец, пытается прилепить его к странице... снова неудача. Тогда он в сердцах плюет в книгу, захлопывает ее, допивает пиво и уходит. Тут, конечно, самое время сказать в какую книгу он плевал. Нет, это не «Идиот» Федора нашего, Михалыча. Не Петербург же у нас, в конце концов. Я понимаю, что по всем законам жанра было бы красиво в «Идиота» или, на худой конец, в «Братьев Карамазовых», но... нет. На обложке книги был нарисован голый до пояса мускулистый мужик, с грудью, перетянутой пулеметными лентами и огромным бластером в мозолистых руках. В каком-то смысле, конечно, «Идиот»...

Сто или даже двести лет не перечитывал «Вино из одуванчиков». Уже и забыл, что Машину счастья изобретал человек по имени Лео Кауфман. Еврей. Это логично. Еврей не умеет быть счастливым. Только тот, кто сам не умеет быть счастливым, и возьмется делать такую машину. Счастливому человеку она не нужна. Вот русский тоже не умеет быть счастливым,* но он ее делать не станет. Он будет изводить себя вопросами – что такое счастье, имеет ли он на него право, зачем к нему стремиться и что будет, если его достигнуть. Честно ли это – быть счастливым, когда все вокруг несчастны...

Тут еврей ему скажет:

– Толик,** сколько можно херней страдать. Ты обещал к Машине сделать такую крошечную шестеренку, которая будет переключать из положения «сиюминутное счастье» на «постоянное счастье». Давай, делай, а то мы с тобой так и не продвинулись дальше блока удовлетворения естественных потребностей.

Русский почешет затылок и ответит:

– Лёва, ну за каким тебе «постоянное счастье»? Вдруг оно будет мучительным или хрупким, или вовсе бабьим? Счастье должно быть безграничным. Кстати, ты когда-нибудь думал о границах счастья? Это высокие-превысокие горы или берег бескрайнего океана, или...

Тут еврей ему... Через час выпьют даже ту водку, которую оставили на утро опохмелиться, в комнате накурят так, что хоть топор вешай, с грохотом полетят стулья, и соседи будут стучать по батарее и кричать, что уже второй час ночи, сколько можно, поимейте совесть и они уже вызывают милицию.

Еще через час приедет милиция, а еще через полчаса Лева и Толик будут лежать на лавках в обезьяннике и, охая, потирать намятые милиционерами бока.

Дежурный милиционер, старший лейтенант Пилипенко, зевая, будет составлять протокол, и предвкушать, как он вернется ранним утром, еще засветло, с дежурства, выпьет положенные сто грамм, навернет тарелку борща, съест мясо с сахарной кости, обсосет ее, оботрет усы и завалится спать под горячий, как печка, бок к своей Гале...

В обезьяннике снова заспорят, зашумят и тогда он, не отрываясь от протокола, крикнет в пространство перед собой:

– Вот щас кто-то у меня люлей-то огребет, если не угомонится!

* см. Чехов А.П. «О любви».

** или Серега

Москва – это девушка лет семнадцати, в красной рекламной футболке и кепке от Мосцветторга, ходящая взад и вперед по длинному и пустынному подземному переходу под Варшавкой. У девушки дрожит пухлая нижняя губа, она шмыгает носом и время от времени указательным пальцем осторожно, чтобы не размазать тушь на ресницах, утирает слезы. На плече у нее висит громкоговорящее устройство, отвратительно бодрым голосом приглашающее на оптовую базу Мосцветторга. Там для нас приготовлены сотни тысяч самых разных цветов по самым низким на свете ценам. Мосцветторг украсит вас этими розами или астрами или герберами юбилей или свадьбу или, не дай Бог, поминки. Вам вот-вот стукнет сорок или пятьдесят? Вы решили жениться? Или Вы собираетесь отдать Богу душу? Тогда мы идем к вам.

Мало кто знает, что полевые ромашки, если им не обрывать любящие лепестки, так и засыхают старыми девами. Не только ботаники, но уже и демографы бьют по этому случаю тревогу. При этом при всём, тот удивительный факт, что молоденькие лисички, чтобы не попасть под нож к грибникам, притворяются солнечными зайчиками, не интересует никого, кроме ботаников и зоологов, которые только и делают, что изучают это животное поведение растений, пишут бесчисленные научные статьи и диссертации, а потом, на банкетах по случаю их защиты, закусьвают жареными или тушеными в сметане лисичками.

Боюсь, что в недалеком, во всех смыслах этого прилагательного, будущем писатели расплодятся еще больше, а читателей станет совсем мало и услуги их станут не по карману многим, даже средним, писателям, не говоря о начинающих. Читатели-могикане объединятся в союзы, вроде тех, что мы сейчас видим у писателей, обзаведутся профсоюзами и пластиковыми членскими билетами с двуглавыми орлами и голограммами. На западе их будут называть союзами букридеров. Появится иерархия Читателей – районные, в столицах еще и окружные, областные и даже федерально-окружные. В деревнях и поселках городского типа все будет по-старому – ни книг, ни читателей, ни писателей. В городах же писатели будут выстаиваться в очереди к Читателям. К районным будут вставать с вечера, чтобы успеть к утреннему сеансу чтения, а к областным или федерально-окружным... среди писателей расцветет взяточничество. Будут вкладывать купюры в свои книги, как в права гаишникам. Всякая литературная критика к тому времени умрет за ненадобностью, и бывшие литературные критики будут работать на звукозаписывающих студиях начитывателями аудиокниг. Понятное дело, что Читатели от районного до федерально-окружного книги будут не читать, а слушать, и профессиональная болезнь у них будет не глазная, а ушная. Самые пронырливые писатели будут всеми правдами и неправдами прорываться в Союз Читателей. Купят себе рекомендации у двух недобросовестных районных читателей и айда в приемную комиссию. Комиссии, однако, будут очень строгие. В них будут сидеть сушеные, точно волбы, и древние, как Тортиллы, библиотекари в кардиганах собственной вязки, в очках с пуленепробиваемыми стеклами и строго спрашивать кандидатов из школьной программы про то, как звали лошадь Вронского или какого размера была грудь у нимфы, нарисованной на картине, висевшей на стене общей залы гостиницы, в которой поселился Чичиков. Впрочем, это будет лишь первый тур. Во втором туре... среди тайных писателей в читательской шкуре расцветет взяточничество. Не останутся в стороне от всего этого и власти. Учредят звания заслуженный и народный Читатель России и два вида нагрудных знаков – серебряные и золотые очки. По уму-то надо будет не

очки, а уши, но уши уже будут на почетных знаках совершенно другого ведомства. У президента и премьеры будут свои личные Читатели. Глядя на них, личными Читателями обзаведутся и наши толстосумы. Хороший Читатель к тому времени будет стоить больших денег. Ими можно будет обмениваться, но только с разрешения Союза Читателей и с выплатой комиссионных ему же. Вся эта процедура будет напоминать нынешний трансфер футболистов. Но самых больших денег будут стоить Учителя Чтения при том, что учителя писания и даже чистописания обойдутся вам в сущие копейки. Богатые люди станут выписывать Учителей Чтения из-за границы и, в конце концов, станут и сами писать на языке своего Учителя. На русском языке будут писать только бедные писатели и писатели-пенсионеры. Пенсионеры для чтения своих воспоминаний будут покупать себе Читателя вскладчину. Минкульт разработает федеральную программу помощи, и в собесах станут группам пенсионеров выдавать на время каких-нибудь дешевых и даже некондиционных Читателей с плохим слухом и зрением, а то и вовсе какие-нибудь электрические устройства для сканирования и распознавания текста. Разозленные пенсионеры будут приходиться с жалобами в собесы, приносить с собой толстые папки с рукописями, перетянутые резинками, и сваливать их у дверей кабинетов. К ним никто даже и не выйдет поговорить и извиниться. Только вечером, когда собес закроется, придет уборщик-таджик, покидает все папки в мусорную тележку и увезет их сжигать на задний двор.

Насмотревшись по телевизору, как один умный профессор рассказывает о причинах, побудивших Гоголя сжечь второй том «Мертвых душ», взял да и подумал – хорошо, что он его сжег. Плохо то, что не сжег все черновики до единого. Ни к чему нам и знать было про всех этих белых и пушистых Муразовых, Костанжогло и всего того, что Самарин назвал «поддурманиванием действительности». Мы мечтали бы о том, каким чудесным этот том мог бы быть, не сжиги его писатель. Наверняка там были ответы даже на вопросы что делать, кто виноват и почему получилось как всегда. Этот том был бы для нас волшебной дверкой под нарисованным очагом. Мы искали бы его как библиотеку Ивана Грозного, как следы посещений инопланетян. Может быть, даже образовалась бы секта свидетелей второго тома, членов которой предало бы анафеме официальное литературоведение. Сколько литературных мистификаций было бы вызвано к жизни отсутствием рукописи второго тома! И если бы вдруг случилось чудо, и наш отец родной стал управлять нами по совести в том смысле, что отрекся бы от престола и улетел к журавлиной матери, мы сразу поняли бы – не просто так он улетел, а прочел свое будущее между строк второго тома, который на самом деле не сгорел, а стоит где-то на самой тайной и секретной кремлевской книжной полке. Ах, как жаль, что Николай Васильевич не поставил после первого тома жирную точку или даже многоточие, но не запятую. Беспременно ему надо было дать ответ, куда несется Русь. Куда она несется... Да она в этом сама себе не признается даже под пыткой. Вообще написание второго тома, если принять во внимание титанические усилия по его многолетнему усовершенствованию, напоминает мне создание Эйнштейном единой теории поля. Гоголь хотел создать единую теорию России. На фоне единой теории России единая теория поля выглядит просто задачей по арифметике для начальных классов. Первый том вышел блестящей теорией относительности, а второй... Чтобы я стал делать, окажись рядом с писателем в ту роковую ночь? Известно что. Валялся бы в ногах и умолял не жечь ни единого листочка.

Вчерашний день смотрел фильм «Братья Карамазовы», а сегодня «Станционного смотрителя». Я так думаю, что если «Братьев Карамазовых» даже и не читать, а просто положить под подушку, то всю ночь кошмары будут сниться, а на утро встанешь весь разбитый и с ужасной

головной болью. Другое дело «Станционный смотритель». Его можно и читать перед сном, и просто держать в руках, да хоть к душевной ране приложить в раскрытом виде – уврачует. Ей-богу уврачует. Потому Александр Сергеевич и есть наше всё, а Федор Михалыч наше не приведи Господи.

Женщина в зеленой сумке

Женщина, покупавшая маленькие дырки с толстыми макаронами вокруг них, вдруг показала пальцем в окно магазина и сказала мужу:

– Вот я одного не пойму – откуда у некоторых цыганок такие славянские лица и волосы?

За окном, по рыночному проулку, проходила красивая стройная девушка с льянными волосами, одетая в цыганское яркое платье из фиолетового плюша с золотой бахромой.

– Да чего тут непонятного, – невозмутимо отвечал муж. – Не слушалась в детстве родителей, вот и...

– Ну что ты несешь..., – начала заводиться женщина, – что ты не...

– Я несу полтора кило свиной шейки, – обиделся муж. – Мне мама в детстве говорила, что непослушных детей крадут цыгане. Как увидят, что ребенок капризничает – так сразу его и крадут. Вот, пожалуйста. Она уже выросла.

Подъехали к станции метро «Тимирязевская», и тут вдруг один из двух нетрезвых мужиков, мирно дремавший на сиденьях у дверей, как вскочит, как закричит истошно:

– Варела! Тимирязевская! Ты здесь посиди, а я сбегаю за сигаретами. Никуда не уходи! Одна нога здесь. Одна...

Тут заряд у него кончился, он упал на сиденье и снова задремал. Что же до Варелы, то он так и не просыпался.

– Самые сладкие помидоры – розовые, – сказала мне продавщица на Отраденском рынке. – Хотите их с майонезиком, хотите со сметанкой в салате, а хотите – просто так поешьте – для души.

В отделении Сбербанка:

– Вы за кем стоите?

– За женщиной в зеленой сумке.

Бабушка тащит за руку упирающегося внука лет четырех-пяти. Внук, задрав голову, не отрывает глаз от низколетящей облезлой вороны, из которой через короткие промежутки времени падают белые ошметки помёта на тротуар, на машины, на желтый тент ларька с овощами, и с восторгом кричит:

– Бабушка! Она какает! Летит и какает! Я так не умею!

Бабушка не отвечает и тащит его дальше по улице.

Томная девушка хриловатым, бесконечно уставшим голосом говорит в свой белоснежный айфон:

– Ты не помнишь, кто тебе сказал, чтоб ты сдох? Я или Кристина?

На той скамейке, что ближе к тамбуру, сидели трое мужчин, из тех, что у нас называют колдырями или синяками, и культурно распивали бутылку водки «Семь озер». Культурно в том смысле, что они ее не занюхивали рукавом, а запивали яблочным соком из картонного пакета. Было видно, что угощал мужик в засаленной куртке и таком же свитере с высоким воротом – он говорил громче и развязнее своих собутыльников. Видимо, он сегодня был при деньгах и потому хотел устроить аттракцион неслыханной щедрости для своих товарищей. С этой целью он остановил проходившую по вагону торговку беляшами и, широко махнув рукой, предложил купить беляшей. Каждому. Товарищи его, однако, отказались, мотивируя свой отказ тем, что, во-первых, они сюда не жрать пришли, а, во-вторых, закуска есть. И указали на пакет с яблочным соком. Через несколько минут, вслед за торговкой беляшами, по вагону пошла мороженщица, и мужик в пальто предложил всей компании угоститься мороженым. Друзья его и тут не изъявили желания. Не лето, чтобы мороженым баловаться. На какое-то время компания притихла и продолжала распивать свои «Семь озер», из которых уже осталось не более трех. После того, как электричка отъехала от Сергиева Посада, в вагон вошло двое мальчишек с маленькой, но очень лопухой собакой и табличкой, на которой было написано, что они собирают на питание бездомным собакам. Мальчишки и собака тихонько шли по вагону, как вдруг засаленная куртка повернулась к ним и громко сказала:

– Работать надо!

После чего отвернулась и разлила по стаканам остатки водки.

– Женщина – у вас языки говяжьки мороженые?

– С чего вы взяли? Свежайшие у нас языки.

– Я же вижу, что подмороженные!

– Так ведь на дворе-то не май месяц. Не мороженые они – чуток замерзли.

– Чуток, как же... а как принесешь домой...

– Женщина, ну что вы уперлись? Я ж вам говорю – свежайшие. Принесете домой, они согреются и еще час мычать будут.

...– Короче он мне позвонил типа такой мне тридцать лет я никогда не был замужем и у меня было всего три девушки и я типа ежу на красной копейке. Не, ну нормально, а? На красной копейке он катается... Ты накопи бабла и езди на зеленом рубле, ушлепок. Какого хрена ты серьезным женщинам голову-то морочишь?..

Высокий, статный мужчина в сером, с отливом, костюме с развевающимся по ветру галстуком быстро шел по улице и буквально кричал в мобильный телефон:

– И не уговаривай! Кто мне позавчера клялся, что это в последний раз? Кто, я спрашиваю?!

Кто лил крокодиловы слезы? Кто рыдал и умолял?! Неделю... Нет, ты слышишь?! Неделю без мультиков!

Ехал в лифте с молодой мамашей и ее сыном, учеником то ли второго, то ли третьего класса. Этажа до третьего мамаша гладила ребенка по голове, на четвертом наклонилась и поцеловала его в лоб, а на пятом просила:

– Витюша, почему ты получил сегодня двойку по поведению?

– Ни почему мам, – мгновенно ответил сын. – Я только-только в школу утром пришел, как мне сразу и поставили. Сам не знаю, за что. Почему они такие, мам?

И посмотрел на мать такими ясными серыми глазами, что даже кнопки лифта чуть не прослезились, а уж они-то чего только не видели.

Как хотите, а поверить в то, что эти ответы передаются от ребенка к ребенку воздушно-капельным путем, невозможно. Зуб даю, что все это у них заложено в генетической памяти. Ведь и школьники в Древнем Египте отвечали то же самое на вопрос родителей. Я и сам... Не сомневаюсь, что и через пять тысяч лет... В будущем, когда генетика достигнет невообразимых высот, ученые, конечно же, найдут ген, который кодирует эти ответы, но... сжальтятся и не станут его удалять. Вспомнят детство и не станут.

Вдруг задумался – сколько лет считалке «эники беники ели вареники»? Понятно, что она не старше вареников. Но ведь и вареникам тоже не одна сотня лет. Как вообще такие считалки передавались от одного поколения детей к другому? Или взять, к примеру, знаменитое «эни бени рики факи турбо урбо сентябряки». Это же вообще какое-то древнее заклинание на исчезнувшем языке. Сентябрьяки, положим, не старше Древнего Рима, а рики и факи? Может, ими пользовались еще дети Древнего Египта. Если бы я был президентом академии педагогических наук, то организовал бы целую лабораторию или даже институт по изучению детских считалок. С удовольствием и сам бы пописывал статейки на тему происхождения, к примеру, считалки «шишли-мышли сопли вышли». Вдруг эти сопли начали выходить в незапамятные времена у каких-нибудь вятичей или кривичей. Я так и вижу древнее племенное святилище и жреца, который заклинает простуженного, сопливого воина* или ребенка. Глеют угли жертвенного костра, кисло пахнет овчиной, деревянные идолы стоят мрачные, липкие от куриной или бычьей крови, а между ними ходит жрец, мерно бьет в бубен и монотонно поет «Шишли мышли... шишли мышли...»

* Кодекс чести древних славян запрещал идти в бой с насморком. Вождь так и говорил большим дружинникам: «Без сопливых обойдемся».

Ирина КОСЫХ

Рассказы

АДИ

Серее Дрогонову

I

– Совершенно неудивительно, что ваша бессонница чередуется с беспробудным сном – это расстройства, родственные друг другу. Бессонница и летаргический сон, например, одного поля ягоды, так как связаны с нарушением функций сознания. Только в первом случае, грубо говоря, отказывают тормоза, а во втором – не схватывается зажигание.

Маргарита Вильгельмовна говорит так тихо, что я склоняю к ней свою выю в прямом и переносном смысле и ловлю каждое сокращение мускула на ее подвижном лице. Если бы не оно, я не разобрала бы и половины из того, что она говорит: слова у нее складываются большей частью из мимических морщин и броуновского движения зрачков, а рот она открывает только для того, чтобы не слишком шокировать собеседника. Она – очень, очень странная, часто думаю я.

Мне приходилось слышать где-то, что многие врачи обычно страдают теми заболеваниями, которые сами и лечат: кардиологи – сердечно-сосудистыми, окулисты носят очки, отоларингологи неважно слышат, гастроэнтерологи – все сплошь хронические язвенники и т.д. А вот Маргариту Вильгельмовну легко можно представить пациенткой психиатрической клиники: кроткой и бессмысленно улыбающейся старушкой, позитивно сумасшедшей, если хотите, но в то же самое время твердо уверенной в существовании другой, более прекрасной реальности, в которой она постоянно плетет венки из васильков, разговаривает с бабочками и светится непридуманным счастьем. Потом, черный лак на ногтях у женщины, по-моему, бесспорный признак безумия, если, конечно, она не выкапывает по ночам картошку у соседей.

– Интересно, а что происходит, если оба эти рефлекса не срабатывают?

– Такое случается, если кровообращение в головном мозге сильно нарушено. Глубокое торможение в его коре распространяется на подкорку и нижележащие отделы центральной нервной системы. Попросту говоря, человек теряет сознание и впадает в коматозное состояние.

– Да, Маргарита Вильгельмовна, умеете вы нарисовать радужные перспективы, внести оптимистическую нотку в серые будни...

– Лидочка, у вас явные проблемы с вегетативной нервной системой. Вы утомлены, перенесли много стрессов. Потом, это ваше невероятное чувство ответственности перед другими – обратите внимание на предлог «перед». Ответственность должна быть за кого-то, а вы все играете в маленькую напуганную девочку, страстно желающую заслужить похвалу суровой матери или классной руководительницы, как будто вам и вправду надо отчитываться перед кем-то, кроме себя.

– Я так понимаю, вы опять хотите заслать меня в вашу «Лесную сказку» – нарезать круги

Ирина Косых родилась в 1976 году в с. Александровка Знаменского р-на Тамбовской области. В 1999 году закончила МГУ им. М.В. Ломоносова (факультет иностранных языков), в 2009-м – Высшие литературные курсы при Литературном институте им. А.М. Горького. В «Волге» публиковался рассказ «Нелегалы» (№11–12, 2011). Живет в Тамбове.

в компании маразматических номенклатурных старух? Имейте в виду: там продается пиво, и с тоски я обязательно буду напиваться.

– Напиваться вам нельзя, деточка. Вам вообще противопоказан алкоголь, вы же знаете.

Маргарита Вильгельмовна неожиданно сует обе руки в карманы своего белого халата и начинает в них что-то искать. На самом деле, ничего она там не найдет. Это у нее такой отвлекающий маневр, когда ей (редкий случай) нужно время подумать.

– Лида, у меня к вам другое предложение. Я считаю, что вам просто необходимо кардинально поменять окружающую среду: и климат, и картинку за окном, и привычки, и даже культурный фон. Вам надо, что называется, освежиться, взбодриться, вдохновиться...

– Надеюсь, вы не пошлете меня за вдохновением и острыми ощущениями на Северный полюс?

– Гм... Предлагаю вам на выбор два варианта: клиника «Хирсланден» под Цюрихом, там работает моя знакомая, фрау Видмар, замечательный невропатолог – она позаботится о вашем устройстве в больнице и сможет вас наблюдать. Второй вариант – поехать на юг Франции, в Средиземноморье. Там нет клиники. Зато живет мой старый приятель Ив Ле Рэн. Он сейчас полностью ушел в психоаналитику и принимает частно, на дому, хоть и является компетентнейшим психотерапевтом – он по образованию врач, а не психолог. Я знаю, что он сдает квартиру на побережье, а сейчас декабрь на дворе, сезон давно закончился, и, скорее всего, никаких постояльцев у него нет. Думаю, я смогу договориться с ним о вашем размещении. Кроме того, вы опять же будете под наблюдением специалиста, так что мне вас не будет боязно отпускать одну в дальнейшее путешествие.

Решение было принять не трудно. Франция, конечно, Франция. Хочу море, хочу каракатиц, улиток, устриц, мидий, скампий, кальмаров и все эти хитроумные приспособления для их разделывания, хочу южных темпераментных французов, кричащих вслед: «Oh, la vache!», хочу французские закусовые и кафе, вывернувшие свое нутро прямо на тротуар, хочу настоящий морской порт и маленькие бело-синие бухточки с посаженными, как морковки на огороде – бок о бок, – яхтами на глади морской, хочу солнца...

II

Обстоятельства складываются наилучшим образом: квартира, действительно, пустует с ноября, профессор Ле Рэн любезно согласился не только меня принять, но и встретить из аэропорта, туристическое агентство взялось за небольшую мзду организовать визу и перелет без брони в отеле. Выяснилось, что Ле Баркарес, куда лежит мой путь, находится рядом с франко-испанской границей.

Ив Ле Рэн оказался весьма симпатичным мужчиной лет сорока от силы, с рябым и улыбочивым лицом, несуетливым, даже несколько вальяжным буржуа, со значительной проседью в темных, слегка вьющихся волосах и загипсованным запястьем (буквально пару дней назад он неудачно упал и сломал руку, катаясь на лыжах в Пиренеях). Все было бы прекрасно, если бы я еще понимала, что он говорит. Поначалу я подумала, что совершенно забыла язык, поэтому мое ухо не вычленяет из его речи ни одного знакомого слова. Я извинялась и переспрашивала, краснея до корней волос (самонадеянная дура!), пока Ив, наконец, не додумался сообщить мне, что он – бретонец. Натуральные французы, может быть, его и поймут, а я, иностранка, о бретонском наречии не имею никакого понятия, кроме того, что он считается одним из самых сложных во Франции. Все это я сказала Ле Рэну, и он пообещал мне стараться говорить на чистом французском.

Когда мы въехали в город, меня поразила мертвая тишина и отсутствие машин, людей, собак. В гордом одиночестве мы медленно двигались по центральной улице между рядов respectable-ных вилл и неожиданно (после Москвы) зеленых кустов, деревьев, газонов. Ив пояснил, что в основном это летние резиденции, и зимой город вымирает.

Ковчег мой располагается на втором этаже маленького двухэтажного домика на четыре квартиры, в двухстах метрах от моря. Маленькая, уютная каморка с трехметровой кухней – да и ладно, все равно не буду себе готовить. В комнате, к моему неопишуемому восторгу, целых два окна: одно выходит на морское озеро, окаймленное разноцветными камышами, а второе – на Средиземное море. «Вода, вода, кругом вода...» Ив помог мне поднять вещи и показал, как пользоваться обогревателем и душем – в доме, естественно, нет ни центрального отопления, ни горячей воды.

– Я обязательно заеду к вам завтра. Сегодня у меня родительский день: везу детей в Порт Авентура, – сказал доктор и уехал.

Делать было нечего: я распаковала чемодан, раскидала вещи в выдавшем виде гардеробе, переделалась в белые джинсы и бордовый свитер и отправилась изучать местность.

Первым делом я исследовала пляж. Никогда не видала такого безлюдного курорта. Пустынная песчаная коса протянулась вдоль морского побережья на несколько километров. В самом начале пляжа возвышалось огромное допотопное судно, непонятно зачем вызволенное на сушу. Пьяный корабль, перепутавший стихии и навечно увязший в песках. Из-за него создавалось впечатление некогда реального, бурлящего жизнью и людьми поселения, которое внезапно, в силу какого-то трагического катаклизма оказалось заброшенным и всеми покинутым пристанищем мертвых вещей: упомянутый корабль, одинокая лодочная станция, покосившиеся таблички с предостережениями и угрозами штрафов, «долетавшиеся» воздушные змеи, бесхозно валяющиеся теперь на пляже, и ни души во всей округе. Разрушенный Эдем. Дрейфующий остров. Город призраков.

III

Параллельно пляжу метрах в ста тянулись двухэтажные бетонные дома – такое ощущение, что здесь в свое время поработал посредственный советский архитектор. Дома – серого заунывного цвета с темно-красными балконами – безрадостные, неуместные, даже враждебные местному ландшафту. Общий вид набережной навевал мысли о насилии: ну нельзя живую, рвущуюся плоть (а море здесь такое своенравное, беспокойное, бесконечное, что больше напоминает океан) заключать в бездушный, искусственный камень...

Я обнаружила в небольшом отдалении от пляжа маленький ресторанчик «Caprice de Mer». Так, судя по всему, это и будет мой культурный фон. Странно, что он открыт. Для кого?

Девушка-барменша не спеша готовила кофе, я листала меню. Да, из вожделенного только устрицы и мидии, и те, чуёт мое сердце, не первой свежести. В остальном – ассортимент скромного московского ресторана.

– Вы здесь проездом? – осторожно спрашивает молоденькая барменша.

– Можно и так сказать, – улыбаюсь я в ответ. – Я здесь пробуду неделю.

– Будете обедать у нас? У нас обедают почти все, кто остался в городе.

– И много таких? – с надеждой в голос спрашиваю я.

– Мадам Боновируа, мадам Жизу, месье Жирарден и месье Штайнер.

– А месье Ле Рэн?

– Нет, он бывает очень редко. Его жена сама готовит.

– Да, наверное, я тоже буду приходить.

– Как вас зовут?

– Лида.

– Мадам Лида, вы можете заказывать что-нибудь особенное, не из меню. Если все ингредиенты возможно найти в Перпиньяне, то приготовим специально для вас.

– Даже так? Хорошо, я подумаю.

Гуляю по набережной, как по необитаемому острову. Где же ты, моя Пятница? Сажусь на скамейку, смотрю на набегающие и разбивающиеся о берег волны. Зачем я здесь? Какого черта ехать

к морю зимой? Местные, наверняка, примут меня за невероятную скрягу: мол, решила по дешевке съездить на дорожный курорт. Ив, действительно, запросил смехотворные для этих краев триста евро за шесть ночей и ни сантима за трансфер...

Неожиданно вдали возникает силуэт человека, двигающегося по бетонной дорожке в моем направлении. Я как-то вся внутренне собираюсь и с преувеличенной тревогой начинаю рассматривать свои коротко подстриженные ногти, дабы не произвести впечатление праздного зеваки (а кто я, собственно, есть?). Меня снедает дикое любопытство и желание заглянуть в лицо неизвестного, который проходит так близко, что я могу запросто ущипнуть его, но... я поднимаю голову только тогда, когда мне видна лишь его спина. И вдруг, пройдя уже метров десять, он резко разворачивается на пятках на сто восемьдесят градусов и что-то кричит, явно обращаясь ко мне. Я не расслышала и от неожиданности встала со скамьи, как будто меня вызвали к доске.

– Pardon, Monsieur? – переспрашиваю я, а он тем временем вразвалочку и, кажется, слегка кривляясь, приближается ко мне.

– Я – Адриан, – говорит он. – Здесь слишком многолюдно, пойдемте ко мне домой. Там вы найдете долгожданный покой и благостное уединение.

Не француз – тут же отмечаю я: слишком раскатистое «р» и царапающее, жесткое произношение. Но это мимолетно. Все мое внимание приковано к его лицу: оно... абсолютно детское, мальчишеское. Совершенно черные глаза, гримасничающий рот, сросшиеся брови. Темные волосы то ли намочены, то ли уложены гелем – блестят не хуже, чем у папаши Адамс. Не могу даже примерно определить, сколько ему лет...

– Это шутка? – пытаюсь я сохранить и лицо, и потенциального собеседника.

– Русская, – уверенно констатирует он. – Была у меня одна русская. Долгими зимними вечерами она писала мне душещипательные письма. Я рыдал. Вы тоже тонкая, чувствительная натура? Или с вами можно просто перепихнуться?

– Вам снова не повезло, – сухо отвечаю я.

К моему удивлению, незнакомец уходить не собирается, и это меня радует: все же пока он единственное живое и говорящее существо, встреченное мною в этой мертвой цивилизации.

– Так как вас зовут? Я же вам представился.

– Лида.

– Лида? Почти как «Атомная Леда» Дали. Холодное имя, асексуальное. Но вам идет.

– Сомнительный комплимент.

– А вы не сомневайтесь. Сомнения делают жизнь невыносимой. Блаженны верующие, слышали, наверное.

Я и не заметила, что мы уже идем вдвоем вдоль набережной, как заправские туристы. Адриан, чему-то ухмыляясь, нагло меня рассматривает. Я, в свою очередь, делаю вид, что этого не замечаю и с озабоченным видом гляжу по сторонам.

– Вы целыми днями сидите в офисе, сто процентов! – озаряется радостью первооткрывателя его лицо.

– Хм... Почему вы так в этом уверены?

– Солнца нет, а вы щуритесь, а значит, либо видите мало естественного света, либо близоруки от длительной работы у компьютера.

– Правда и то, и другое. Вы угадали.

– О, я великий угадыватель, поверьте. Я, собственно говоря, только тем и занимаюсь, что разгадываю разнообразные ребусы. I am a riddle solver!

– Я тоже кое-что могу угадать про вас.

– О, я заинтригован. Говорите!

– Ну, например, вы не француз.

– Боже, – хватается он за сердце, – кто же я? Кто же я, Господи? – кривляется этот зарвавшийся, самонадеянный шут.

- Немец, – наобум говорю я.
- Негусто, – корчит он скорбную мину. – На самом деле, вы взялись за трудную задачу. Лишь это и извиняет ваш конфуз.
- Не знаю, мне слышится немецкий акцент. Я, конечно, могу ошибаться.
- Вот так с ходу взяться определить мою национальность – какая вы все-таки дерзкая!
- Ну, так исправьте меня...
- Пойдемте ко мне домой, и я вам устрою целый спектакль с участием всех персонажей моего ветвистого генеалогического древа. Вам понравится!
- Спасибо. В другой раз.
- Отчего же?
- Я вас совсем не знаю. С какого перепугу я потащусь в дом к первому встречному? Вы вообще ведете себя так, что я не знаю, чего от вас ждать в следующую секунду.
- Ох, вижу, что вы меня боитесь. Я обещаю, что буду сдерживать себя и не наброшусь на вас с плотоядным ревом, как только захлопнется входная дверь. Мы же не животные, как вы думаете? Не понимаю, говорит ли он в шутку или всерьез. Он сбивает меня с толку, и я предпочитаю просто промолчать. Адриан идет рядом и пинает мелкие камешки, валяющиеся на бетонной аллее. Начинает темнеть, и ветер становится пронизывающим. Не знаю, как закончить этот нелепый разговор, поэтому решаю соврать.
- Кажется, я заболеваю. Мне надо идти домой.
- Я вас провожу. Это так романтично.
- Как хотите. Дорогу я знаю.

Остаток пути мы преодолеваем молча. Адриан время от времени отстает от меня, а когда я оборачиваюсь, то он изображает из себя понурого, послушного осла, плетущегося за своей хозяйкой. А потом глупо хихикает. У дома он хватает меня за обе руки и начинает страстно их лобызать. Он просто издевается надо мной. Я вырываю руки и молча вхожу в подъезд.

– Пока, – кричит он мне вслед, но я не оборачиваюсь.

В квартире я не утерпела и взглянула в окно: рассевшись на скамейке напротив подъезда и раскинув на ее спинке руки, он смотрел прямо на меня. Я отпрянула от окна в то же мгновение, покраснев от стыда, как школьница, застигнутая у замочной скважины. И тут же отругала себя за это: надо было просто улыбнуться или помахать рукой...

IV

На следующий день меня разбудил громкий стук в дверь. Спросонья я подумала, что это милиция. Когда я жила в коммуналке с соседом-дебоширом, подобным стуком меня будили регулярно. Поэтому первым делом я кинулась за паспортом, потом одумалась и взглянула на часы. Половина третьего. «Ничего себе», – подумала я и стала суетливо одеваться в то, что первым попало под руку.

Это оказался Ив, с гипсом на руке и тревогой на челе. Он стучал около двадцати минут, но мой младенческий сон был неколебим. Ив вошел в комнату и сел в единственное кресло подле окна. Вечно психотерапевты, как опытные бизнесмены, выбирают позицию у окна: чтобы собственное лицо было в тени, а лицо собеседника как на ладони. Я села напротив прямо на кровати.

– Думаю, нам надо поговорить. Я здесь вроде вашего опекуна.

– Конечно, с удовольствием.

– С какими жалобами вы обратились к Маргерит?

– Меня беспокоит бессонница и проблемы с пробуждением. Попеременно.

Ив помолчал и заговорщицки взглянул мне в глаза.

– Мадам Лида, я понимаю, что это серьезная предпосылка полечить нервы, но не повод обследоваться у Маргерит, так как она – психиатр.

– Маргарита Вильгельмовна появилась в моей жизни гораздо раньше. Для этого были другие причины.

– Расскажите, пожалуйста, об этом.

– Ну... у меня были определенные состояния, которые, как выяснилось, надо лечить.

– Что конкретно вы имеете в виду?

– Трудно объяснить. Вы знаете такой термин: «суггестивность»?

– В психологии это обозначает внушение.

– Ну да, ну да... Но литературоведы, например, используют это слово для определения подтекста, второго или даже третьего плана какого-нибудь произведения. Так вот, у меня возникало ощущение тотальной суггестивности мира. Уф! Как сложно это объяснить словами. Ну, понимаете, в такой период каждый предмет, слово, звук имел какое-то особое значение, предназначенное только для меня. Вы вообще не задумывались о том, что все в мире – носитель информации: от текста до падающего снега, или вот до вашей загипсованной руки? Каждый предмет – это отдельная история, особый смысл. Много смыслов.

– Вы слышали голоса?

– Нет, совсем нет. У меня никогда не было галлюцинаций.

– Как вы сами для себя объясняли это ваше состояние сверхвосприимчивости?

– Я считаю, что это был Бог.

– ?

– Вы не любите Сэлинджера? Я очень люблю Сэлинджера. В одном из его рассказов маленький мальчик объясняет, как он осознал, что все – это Бог. Его младшая сестра пила молоко, и он вдруг понял, что она – Бог и молоко – Бог, и все что она делала, это переливала одного Бога в другого. Это очень понятная мне иллюстрация. Даже не знаю, можно ли объяснить лучше, доступнее.

– Понятно. Как часто с вами это случалось?

– Дважды.

– Вы не заметили какого-то определенного стечения обстоятельств, событий, эмоциональных всплесков, предшествующих этому?

– Заметила. Это случилось после того, как я видела мертвых людей.

– Гм... Ну, расскажите и об этом.

– Когда мне было двенадцать лет, я видела своего дедушку, который к этому моменту уже полгода лежал в земле.

– Где вы его увидели?

– В метро. В вагоне кроме нас никого не было. Он зашел на станции «Театральная», сел напротив меня и улыбался.

– Вы пробовали с ним заговорить?

– Нет. А зачем?

– Ну ладно. А второй раз?

– Второй раз я ехала на машине и вдруг в соседнем ряду, в каких-то помятых «Жигулях» увидела своего недавно трагически погибшего приятеля. Все лицо у него было в ссадинах и кровоподтеках. Я очень сильно расстроилась тогда.

– Лида, а вы допускаете, что эти люди были просто чем-то похожи на ваших знакомых?

– Да, наверное, так оно и было.

– Ну, слава Богу. Честно говоря, я начал сомневаться в целесообразности вашего пребывания здесь. Сейчас, кроме бессонницы, вас ничего не беспокоит?

– Нет. Я чувствую себя совершенно здоровой.

Стараюсь убедительно улыбнуться. Вроде получилось.

– Хорошо, Лида. Я вам оставляю номер своего мобильного: немедленно звоните, если почувствуете просто какие-либо сомнения. Никаких препаратов я вам прописывать пока не буду. Просто старайтесь соблюдать режим, наслаждайтесь отдыхом, берегите нервы. Я заеду завтра.

Проводив Ива, я переделалась и собралась идти завтракать. Вернее, ужинать. Подъезд мой был мрачен, пуст и пугающе безмолвен. Солнце уже начало садиться, и городской пейзаж приобрел зловещие красные тона. Зарево гущалось над морем и казалось, что эта небесная кровь вот-вот капнет и окрасит беспокойные воды или, скорее всего, растворится в них без следа. Мне стало грустно и отчего-то жалко себя. Видимо, миловидная барменша заметила это и то и дело дарила мне смущенные улыбки и посылала импульсы доброжелательности из своего темного, освещенного зеленым светом бра уюлка.

Я оставила соразмерные с улыбками чаевые и вышла на пляж. Никого. Честно говоря, я хотела встретить Адриана. Хотя он и взбесил меня своей наглостью, но и заинтриговал в то же время. От него веяло юностью, бесшабашностью, отвязностью, в нем чувствовалась какая-то необычайная внутренняя свобода.

Дойдя до конца набережной, я обнаружила разрушенную каменную стену. Кое-где высота доходила до метров трех, и сохранились маленькие глубокие оконца, сквозь которые, как в дорожной основательной раме, зияло мятежное, медленно угасающее море. Я села в том месте, где стена совсем осыпалась, и выгащила сигарету.

– Она пестует свое одиночество и безнадежно грустит о невозможном, – раздался тихий насмешливый голос над моим ухом.

Я даже не заметила, как он подошел. Облокотившись на каменную плиту, Адриан с некоторым сожалением смотрел на меня сверху вниз. Очевидно, он снова был в образе Пьеро и Арлеки на одновременно. Я отвела глаза.

– Вы меня напугали.

– О, простите. Мне показалось, вам будет полезна небольшая встряска.

Адриан обошел стену и присел рядом со мной, отмахиваясь рукой от наползающего на него дыма.

– Вас не пугают эти чудовищные предсказания на пачках?

– Сигаретах? Нет, слава Богу. Я фаталистка.

– То есть безвольный человек?

– К сожалению, не все находится в нашей воле. Особенно то, что касается смерти. Здесь уместнее говорить о воле божественной.

– Что вы Бога-то все поминаете? Имейте в виду: на меня это не действует.

– Вы не верите в Бога?

– Послушайте, все религии придуманы для ущербных, психически неразвитых, вернее, неполноценных людей. Мне лично Бог не нужен. Мне не нужен Бог, чтобы не убивать – я не выношу чужого страдания и мне отвратительно насилие в любых его проявлениях. Мне не нужен Бог, чтобы, например, вас любить – это единственное, что я умею делать в совершенстве и чему я могу отдаваться без остатка. Мне не нужен Бог, чтобы не воровать – я даже в рестораны хожу редко, потому что мне неприятно пользоваться вещью, к которой прикасался другой человек. Я не завистлив, не ревнив, не тщеславен. Зачем мне этот ваш Бог, скажите?

– Вы что, святой?

– Нет. Я просто исключительно здоровый человек и не нуждаюсь ни в чьих указаниях и проповедях. Правда, я долго болел, как и все. А потом – раз и вылезился.

Адриан, прищурившись, смотрит на меня искоса, как будто проверяет, насколько ошеломляюще звучит его заявление.

– Как же вы сумели излечиться от пороков?

– Да как вам сказать... Это произошло неожиданно. Я, собственно, тут ни при чем.

– Что-то вроде божественного просветления?

– Хм... Скорее уж затмения. Впрочем, я не хочу об этом говорить.

– Почему?

– Не хочу и все. Для вас это недостаточный довод?

Я молчу. Хотя меня распирает любопытство. Я внимательно посмотрела на него, и мне вдруг стало необыкновенно уютно и спокойно. Я представила, что мы очень давно знакомы. Почти вечность. Будто мы всегда были здесь, и будем, и есть. И никуда не спешим. Потому что больше некуда.

– Но разве вас не страшит смерть?

– Немного. Но я живу в мире, где все конечно. Почти у всех нас есть время привыкнуть к этой мысли. Смерть необходима так же, как жизнь.

– Пусть так. Но неужели вам не кажется бессмысленным собственное существование в таком случае? Для чего оно? Посмотреть на планету Земля и оставить после себя кучу мусора? Народить детей, благополучие и счастье которых мы не в состоянии гарантировать? Мне кажется, что вероятность Бога придает хоть какой-то смысл нашему бытию...

– Вот-вот. Я же говорю: опиум для убогих – даже смысла в своей собственной жизни найти не могут. Придумали смысл – вечное блаженство. Только лентяй и недоумок может желать этого. Я ненавижу безделье и праздность. Для меня только в действии, делании и есть настоящий смысл. Не знаете, зачем жить? Поработайте над собой, и жизнь ваша наполнится и смыслом, и радостью и всем, чем захотите. Сделайте доброе дело, создайте произведение искусства или что-то, что будет радовать людей, заботьтесь о тех, кто вам дорог, родите нового человека, наконец, и постарайтесь воспитать его более совершенным, то есть здоровым, существом, чем вы сами. Да мало ли смыслов вокруг. Почему вы выбираете рай, который еще неизвестно, есть ли на самом деле, объясните?

– Потому что я хочу жить вечно. А вы?

– О, значит жизнь на Земле – не такая уж плохая штука? Так радуйтесь и будьте счастливы здесь и сейчас! Жить вечно? Нет, это не для меня. Думаю, я бы умер со скуки.

– А что вы думаете о Библии?

– Интересная книжка. Но мне больше понравилась Книга Мертвых. Очень смешная.

– Что в ней смешного?

– Вам не понять. Да и хватит об этом. Лучше расскажите, что вы здесь делаете в такое время года? Вас выгнал муж?

– Нет никакого мужа. Мне посоветовал приехать сюда доктор. Отдохнуть от суеты и привычного ритма жизни.

– А вы устали?

– Если честно, то да.

Адриан почесал затылок и протянул мне руку:

– У меня есть два предложения: во-первых, давай перейдем на «ты», а во-вторых, пойдем ко мне домой. Я угощу тебя хорошим вином. У вас в России такого не найдешь.

– Ладно, – помявшись, отвечаю я. – К черту хорошие манеры. Мне и вправду любопытно посмотреть, как ты живешь.

VI

Мы шли довольно долго, дорога уходила в сторону от города и вела вверх. Адриан время от времени поворачивался ко мне и участливо спрашивал:

– Ты не устала? Может, поймаем попутку? Ты любишь автостоп?

Это было смешно. За все время мимо нас не проехала ни одна машина. Когда закончились виллы, то земля обнажилась, и я смогла, наконец, как следует разглядеть местный ландшафт. Вокруг были невысокие холмы, засаженные какой-то растительностью и как будто поделенные на

участки. Кое-где неожиданно возникали огромные валуны, словно специально разбросанные таинственным сеятелем.

– Тебе нравится здесь? – спросил Адриан.

– Не знаю. Здесь странно.

– Почему странно?

– Я чувствую здесь какое-то прошлое. А настоящее и будущее – нет.

Адриан рассмеялся.

– А как же ты? Ты же настоящая?

– Да. Но только благодаря тебе. Ты – мой единственный свидетель.

– А ты – мой, – вдруг неожиданно серьезно произнес Адриан и пошел быстрее.

Вскоре мы вошли в другое селение. Здесь дома были победнее и постарее. Зато была жизнь. У красного каменного дома нас обляяла маленькая серая собачонка. В окнах горел свет. Мальчишка проехал на велосипеде. Какая-то женщина выглянула в окно посмотреть на нас. Адриан остановился у деревянной калитки и, пропуская меня вперед, сказал:

– Мы пришли.

Вошли мы, видимо, с черного хода, потому что нам пришлось спуститься вниз по лестнице, чтобы попасть в парадную дверь. Мы сразу оказались в небольшой гостиной, половину которой занимал черный рояль и громоздкий камин. Адриан усадил меня на кушетку и ушел в подвал за вином. Я с любопытством осматривала комнату. На стенах висели черно-белые портреты, по всей видимости, начала прошлого века. На них была изображена одна и та же женщина аристократической красоты, в шляпе, с массивными темными бусами на длинной журавлиной шее. Губы ее были сомкнуты в то ли застенчивой, то ли загадочной улыбке. Глаза смотрели внимательно и серьезно. А на полке над роялем стоял, судя по всему, ее же гипсовый бюст. На каминной полке были расставлены несколько фотографий в рамках. Я встала, чтобы рассмотреть их поближе. Но, едва подойдя к ним вплотную, отшатнулась. На всех фотографиях были изображены... надгробия с именами усопших и датами рождения и смерти. Всего фотографий было пять. Даты рождений были разные, а дата смерти у всех одинаковая – 5 апреля 2003 года, кроме одной фотографии. Тут я услышала шаги Адриана и вернулась на место.

– Ты не скучаешь?

– Нет. Здесь интересно. У нас все иначе устроено.

– Это естественно.

– А кто эта женщина на портретах?

– Это моя бабушка. Я ее любил. Очень сильно.

– Она – француженка?

– Нет, она – хорватка. Из знатного рода. Вышла замуж за моего деда, а тот был евреем. Это по маминой линии. А отец у меня наполовину венгр, наполовину француз. Так что национальность мою ты бы не угадала ни за что.

– Кто же ты по паспорту?

– Француз, кто же еще?

– А сколько тебе лет?

– Двадцать семь.

– Не может быть! Мне кажется, ты младше меня лет на пять!

– А тебе сколько?

– Тоже двадцать семь. Но я тебе не верю.

– Хочешь, паспорт покажу?

– Давай.

Адриан вышел и поднялся по лестнице на второй этаж, вернулся с паспортом в руках. Все точно: Адриан Вилье, дата рождения 11 декабря 1979 года, француз.

– Ну что, теперь я представляю для тебя интерес? Видишь, я уже взрослый мужчина и полноценный француз. Ты можешь использовать меня в корыстных целях.

Я рассмеялась.

– В каких еще целях?

– Ну как же? Соблазнить меня и заполучить французское гражданство и состоятельного мужа. Я – состоятельный, я тебе не говорил? У вас же все хотят уехать за границу.

– Откуда у тебя такие сведения?

– Я же говорил, что у меня был роман с русской. Очень любила Элтона Джона. Я, честно говоря, с тех пор его без содрогания слышать не могу.

– Она тебя чем-то обидела? Ты отзываешься о ней не так чтобы очень лестно.

– Обидела? Да нет. Она меня замучила письмами и почтовыми открытками с видами Красной площади. И в каждой: «Люблю. Целую. Жду». А что я ей напишу? Я ее видел две недели...

– И что ты сделал с ее письмами, если не секрет?

– Письма выбросил, а открытки наклеил на дверь туалета. Хочешь, пошли посмотрим?

Адриан схватил меня за руку и потащил в прихожую. На двери туалета, действительно, были приклеены штук десять открыток, текстом наружу. Мне было неудобно, но я все-таки пробежалась глазами. «Думаю о тебе... Не могу ни в кого влюбиться... Как мне жить?... Хочу от тебя детей... Помнишь, в ту ночь у пирса... Я дошла до крайней точки...». «Ужас», – подумала я, и мне почему-то стало стыдно.

– Жестокий мальчишка, – процедила я.

– У некоторых встреч не бывает продолжения, – несколько обиженно ответил он.

– Ты ей писал?

– Нет. Я не ответил ни на одно письмо. И дураку понятно, что не надо больше писать.

– Она надеялась. Может, думала, что письма не доходят. Тебе надо было объясниться с ней.

– Ей стало бы легче, если бы я сказал, что она мне не нужна?

– Смотря, как бы ты сказал ей это.

– Мне не хотелось с ней говорить. Она не знала меры. И вообще, какой смысл разговаривать с истеричками. Ты видела, что она пишет?

– Пока она была здесь, ее истеричность, по-видимому, тебе не очень мешала. Иначе откуда у нее возникли такие надежды?

– Она отдохнула? Нет, скажи, отдохнула?

– Ну?

– И я отдохнул. Отпуск закончился. Начались серые будни. Все.

– Все с тобой понятно. Ты у нас, оказывается, местный Казанова. Мальчик на сезон.

Адриан злобно зыркнул на меня своим бездонными черными вишнями и ушел обратно в гостиную.

VII

Он, видимо, все еще немного сердился на меня и наполнял бокалы молча и сосредоточенно. Вино оказалось и вправду чудесным, немного терпким и бархатным, цвет его завораживал. На этикетке стояло клеймо «Мон Тош», урожай 1998 года. Адриан вошел в образ рафинированного юноши и пил вино невероятно изысканно: маленькими глоточками, пригнувшись и слегка покачивая головой. Он был похож на опытного дегустатора, не хватало только красного мясистого алкоголического носа, какой был у одного эльзасца-сомелье в московском «Винном доме». «Наверное, любимая бабушка научила», – подумала я и улыбнулась.

Мне очень хотелось расспросить его об этих странных, зловещих снимках на каминной полке, но я чувствовала, что сейчас это было бы бестактно и не к месту.

– Ты играешь? – спросила я Адриана, кивнув на рояль.

– Немного. Это бабушка музицировала. Я – так, под настроение.
 – Сыграй что-нибудь.
 – Сейчас? В такой романтический момент? Когда вот-вот зародится и распустится наше глупое, прекрасное чувство? – Адриан придвинулся ко мне вплотную, заглядывая мне в глаза не то с иронией, не то с мольбой.

– Вот и сыграй что-нибудь легкое и лиричное, – осторожно отодвинулась я.

Адриан поставил бокал на журнальный столик и встал.

– Тогда это будет Зйчи.

– Кто?

– Это венгерский пианист, ученик Листа. С ним, знаешь ли, случилась прескверная история, когда он был подростком.

– Какая история?

– Он лишился правой руки.

– Как же он играл?

– Он научился в совершенстве играть левой.

– Разве такое возможно?

Адриан вдруг сел на корточки возле моих коленей и, взяв меня за руку, тихо произнес:

– Я и сам себе часто задаю этот вопрос. Правда, меня больше интересует, можно ли обходиться только левым полушарием мозга.

Потом встал и сел за инструмент. Сначала я пыталась вслушиваться и уловить гармонию, потому что игра Адриана мне показалась какой-то чудовищной какофонией. Но потом я пригляделась к его значительному, выпяченному лицу и поняла, что он просто кривляется передо мной, изо всех сил ударяя по клавишам и запрокидывая назад свою дурную голову. Он так увлекся, что, по всей видимости, забыл о моем существовании. Я, улыбаясь, смотрела на него. Он, действительно, играл. Как умеют играть только дети: самозабвенно, с полным погружением.

Когда концерт закончился, я медленно похлопала в ладоши. Адриан жеманно поклонился и спросил:

– Ну как?

– Вне всякой критики. Ты – прекрасен.

– Рад, что ты это понимаешь. Все совершенное – прекрасно!

Я хмыкнула и допила вино. Адриан сел рядом и уставился на меня, как на забавного маленького зверька: с любопытством и умилением.

– Ты подвергалась когда-либо насилию?

– Ого-го! – поперхнулась я и закашлялась. – Отчего вдруг такие вопросы?

– Не знаю. Мне кажется, ты любишь чувствовать себя жертвой. Нет, чтобы наброситься на меня, как тигрица, оторвать зубами все пуговицы на моей новенькой рубашке, вгрызться поцелуем в мою мужественную грудь, ну и так далее. Я же тебе понравился, скажи?

– Ты – интересный человек, – чуть помедлила я с ответом.

– О, Господи... – взмолился Адриан.

Адриан молчал, кажется, что-то обдумывая.

– Слушай, давай откроем друг другу какой-нибудь секрет. Мне кажется, это нас сблизит.

– Ты хочешь, чтобы мы сблизились? Зачем?

– Я хочу? Я хочу с тобой переспать, если уж на то пошло. Но раз ты такая неприступная и морально устойчивая, то мне приходится идти на всякие ухищрения. Все по твоей милости. Может, просто пойдем наверх и займемся любовью, а?

Я не выдержала и расхохоталась:

– Адриан, ты такой непосредственный и прямодушный, что тебе трудно в чем-либо отказать...

– Это значит «ура»?

- Ничего это не значит. Не в моих привычках ложиться в постель с первым встречным.
- Ну какой же я тебе первый встречный, Лида?! Я тебе про бабушку рассказал!

– Спасибо, это очень мило и трогательно. Я тебе могу про дедушку рассказать. В качестве компенсации.

– Скажи, пожалуйста, почему мир настолько несправедлив? Вот мне совершенно необходимо знать о тебе что-либо, даже имя мне неважно – я и так тебя уже хочу. А тебе надо проверить мой паспорт, уточнить национальность и возраст, проэкзаменовать мои музыкальные способности – и все без толку. Наверное, тебе нужно предоставить мою подробную биографию, заверенную в полицейском участке, с приложением положительных характеристик всех женщин, с которыми я когда-либо имел дело? Только тогда ты согласишься возлечь со мной?

– Отстань.

– Что?

– Я не обязана спать с тобой.

Я начинала злиться. Поразительно самонадеянный тип! С какой стати он требует от меня взаимности? Все-таки я совершила ошибку, согласившись пойти с ним. Вечно я сама нарываюсь на неприятности. Адриан тем временем снова наполнял мой бокал:

– Ты не оставляешь мне выбора, – довольно мрачно произнес он.

– В каком смысле? – я струхнула: мне почудился в его глазах маниакальный блеск.

– Придется тебя напоить.

– Я больше не буду пить. Мне нельзя.

– Ну вот. Опять какое-то препятствие нашему счастливому единению... Тогда я тоже не буду пить, – сказал Адриан и в сердцах громыхнул бутылкой о столик.

Мы молчали, а мне вдруг захотелось сказать ему что-нибудь хорошее. Он ведь, в сущности, милый, забавный парень. И красавец ко всему прочему.

– Что ты там говорил про секреты?

Адриан недоверчиво посмотрел на меня.

– Могу тебе открыть свою тайну. А ты мне – свою. Идет?

– Идет.

– Ну, тогда слушай.

Адриан медлил. Видимо, все-таки сомневался, говорить или нет. А может, специально атмосферу накалял. Для пушшего эффекта.

– Три года назад у меня погибли все мои близкие родственники: мать, отец, старший брат и дедушка. Я остался совсем один.

Надгробия на каминной полке получили свое трагическое объяснение. Я не знала, какие слова утешения тут можно придумать, поэтому опустила глаза и уставилась на носки своих туфель. Адриан же, напротив, казалось, развеселился и уже с немалой долей издевки сказал:

– Я очень страдаю. Я нуждаюсь в помощи. Конкретно в твоей.

– Никто не может тебе помочь, – помолчав, совершенно серьезно ответила я.

Адриан вдруг резко приблизился ко мне и взял мою голову руками. Его лицо было очень близко, я чувствовала его дыхание.

– Зато я могу помочь тебе, – неожиданно искренне заговорил он. – Прошу, разреши, мне помочь тебе.

Он поцеловал меня в губы, а потом в щеки и лоб: легонько и нетребовательно, как маленький ребенок зацеловывает в порыве благодарности свою мать.

Я как-то сразу сникла и размякла. Но все-таки отстранилась: мягко, будто извиняясь за это вынужденное отчуждение. Адриан немного отпрянул и вновь вошел в свой прежний, иронично-издевательский образ.

– Теперь ты. Что там у тебя за душой – рассказывай.

– Я могу видеть мертвых людей.

– Что?

– Если близкий мне человек умирает – неважно, где, – то через некоторое время я его встречаю. Живым.

– Какая прелесть! – заключил Адриан и дико расхохотался.

Я смотрела на него, недоумевая.

– Нет, ты, правда, прелесть, – немного успокоившись, повторил он. – И что же ты делаешь, когда встречаешь мертвых?

– Ничего. Смотрю.

– А тебе никогда не хотелось поговорить с ними, узнать, как они себя чувствуют?

– То же самое у меня спрашивал недавно один человек. Я не знаю. Мне не хотелось ничего спрашивать. Собственно, и так все было понятно.

– Что именно понятно?

– Я – здесь, они – там. Просто попрощались.

– Ты не любопытна.

– А что бы ты спросил у мертвого человека?

– Я? Я бы спросил о погоде. Вдруг там ветрено и дождливо. Я, знаешь ли, больше всего на свете люблю солнце.

– Мне не пришло это в голову.

Мы помолчали. Вдруг Адриан оживился:

– Пойдем, я покажу тебе свою спальню, – встал он с места.

– Ты опять за свое?

– Да нет, правда, просто покажу свою святая святых.

Мы поднялись на второй этаж. Спальня была не очень большой, из нее выходили двери на просторную веранду с изумительным видом на море и маяк. Лунная дорожка высвечивала морские ребра. Свет маяка был сонным и неярким. «Как бы я хотела здесь жить», – подумалось мне, и Адриан взял меня за руку.

Я проснулась под утро. Уже начало светать. Розовый свет лился сквозь распахнутые настежь двери террасы. Первое, что бросилось мне в глаза – картина, на которой была изображена лодочка, прибывшая к галечному берегу моря. По ее краям болтались оставленные кем-то весла, а в самой лодке был брошен букет акаций. Я сидела нагишом в чужой уютной постели и гладила волосы малознакомому мальчику. Горячему мальчику неопределенной национальности. На голове, под волосами у него был огромный выпуклый шрам. Мне хотелось плакать, проводя пальцами по нему. Неожиданно я вспомнила про Иву и растолкала Адриана.

– Я совсем забыла! Мне надо быть дома! Это срочно!

– Я тебя отвезу, – пробурчал Адриан и засунул голову под подушку.

Машина оказалась какая-то смешная: синий «Опель» с выкрашенной в бордовый цвет крышечкой капота. Вещь видала виды, одним словом. Адриан был сонным и неразговорчивым. Я тихонько смотрела на него в зеркало заднего вида. Он был смешной и очень красивый. Доехали мы за десять, а то и меньше, минут. Адриан притянул меня и поцеловал в губы на прощанье. Опять как-то по-детски – не всерьез. Я вышла из машины и, не оглядываясь, вошла в подъезд.

VIII

Оказалось, что зря я вернулась так рано. Ив приехал лишь в полдень, и до его приезда я провела время совершенно бесцельно: то пыталась читать книжку, то зачем-то переставляла посуду в кухонном буфете, то торчала на балконе и считала растущие во дворе кусты олеандра.

На душе у меня было радостно и тревожно одновременно. Временами мне жутко хотелось заплакать от какого-то немислимого счастья, переполнявшего меня, когда я смотрела на подсвеченные изнутри, как китайские фонарики, облака, проплывавшие вдаль, или на неподвижное

озеро, переливавшееся всеми цветами радуги, и даже когда я просто рассматривала в зеркале свое осунувшееся бескровное, полупрозрачное лицо.

Я уже знала эту странную особенность за собой: после любовного соития я начинаю с особой остротой ощущать свое тело и существование в целом. Как будто впервые осознаешь то, что все это не снится тебе, что жизнь – вполне реальная, осязаемая штука, что все «пять неверных чувств» даны тебе не напрасно, что пока ты еще можешь поглощать всеми клеточками твоего организма каждую мелочь, каждый штрих, каждый звук, запах, цвет, форму, вкус бытия. В общем, вдруг понимаешь, что ты есть, и это открытие наполняет тебя банальной благодарностью всему сущему.

Ив прибыл в мрачном расположении духа. Расспросил про то, как я провела вчерашний день. Я решила не скрытничать и рассказать про Адриана (все равно ему рано или поздно нашепчут – нас ведь видели вместе). Да и о чем еще было с Ивом говорить? Но мой рассказ неожиданно встревожил его:

- С кем вы познакомились?
- С Адрианом Вилье, он живет недалеко отсюда.
- Где вы с ним познакомились?
- На набережной.

Ив взглянул на меня с недоверием и даже испугом. Я почувствовала, как его острые глаза пытаются что-то разглядеть на моем лице.

- Расскажите, как он выглядит, – наконец сказал он неожиданно сурово.
- Брюнет, выше меня на полголовы, карие глаза, улыбочивый парень. Вы что, его не знаете?
- Я-то его знаю, – пробормотал Ив и посмотрел куда-то мимо меня.

Потом он заставил меня описать, как выглядит его дом. Спросил, видел ли нас кто вместе. В общем, не знаю, что его так насторожило. Может быть, Адриан уже успел снискать здесь не самую лучшую репутацию, и Ив боялся, что это как-то негативно отразится на мне. Или, зная силу очарования Адриана, он боялся, что тот заставит меня страдать или что-то в этом роде. Я спокойно ответила не все его вопросы и добавила, что я – взрослая девочка, так что все нормально.

- Норма – понятие относительное, – ответил Ив.

Подумав пару минут, Ив спросил:

- Лида, когда вы улетаете?
- Через три дня, в субботу.

Ив стряхнул со своего светло-бежевого джемпера воображаемые пылинки и как-то необычайно вкрадчиво произнес:

– Лида, давайте сделаем вот как: вы сейчас вместе со мной поедете в агентство, и мы с вами поменяем билет на завтра. Это будет наилучший вариант.

- Зачем? Я не хочу уезжать раньше, – быстро выпалила я.

– Мне кажется, здешний климат вам идет не на пользу: вы неважно выглядите. Потом эти ваши новые знакомства... Не нравятся они мне. Совсем не нравятся.

– Почему? Что в этом такого? Я что, не имею права общаться, с кем хочу? Что за странные ограничения? – Ив начал меня порядком раздражать.

– Лида, как сказать... С человеком, о котором вы мне рассказали, случилось несчастье. Он... как сказать... немного не в себе.

– Да, я знаю про эту страшную трагедию. Но Адриан выглядит совершенно здоровым, я не заметила никаких признаков расстройства. Хотя, вы знаете, у него на голове огромный шрам. Он тоже был в той катастрофе?

- Что у него на голове? – встал с места Ив.
- Шрам... – пролепетала я, поняв, что сболтнула лишнего.

Не в себе был, по-моему, не Адриан, а Ив. Он нервно намотал шарф на шею, натянул куртку, подхватил свой портфель и торопливо бросил мне на прощанье:

- Лучше никуда не выходите, пока я не вернусь. Мне надо кое с кем поговорить.

IX

Я прождала Ива полтора часа и вышла на улицу. Мне было необходимо, просто необходимо видеть Адриана. Я боялась что-то пропустить, забыть его о чем-то спросить или что-то сказать ему. Мне вдруг стало страшно, что он может вот так исчезнуть из моей жизни навсегда.

Я почти бегом добежала до набережной, где как будто целую вечность меня ждал Адриан, сидя на той самой скамейке, где я его впервые увидела. Я молча села рядом, все еще часто дыша, он положил мне руку на плечо, как давней своей подруге, звучно чмокнул в щеку и хитро заглянул мне в глаза.

– Адриан... – начала я.

– Ади, – тут же поправил меня он, – называй меня Ади – это подчеркнет новый уровень наших отношений.

– Ладно. Если тебе это нравится. Ади...

– А как мне тебя теперь называть, Лида?

– Называй меня просто Да, – неожиданно пришло мне в голову.

– Да? Тебя так называли в детстве?

– Нет. По-русски Да значит «да».

Ади несколько секунд переваривал новую информацию и, наконец, расплылся в самодовольной улыбке.

– Мне нравится, – заключил он. – Ади и Да – звучит.

Ади взял меня за руку и повел по направлению к стоявшему в песках кораблю.

– Послушай, Ади, – снова начала я.

– Говори, – ответил он, продолжая тащить меня за руку к этому железному монстру.

– Послушай, Ади, – я остановилась и вырвала руку. – Я думаю, что я влюбилась.

Мне казалось, что это мое признание перевернет мир вверх тормашками, все изменит, начнет новый отчет. Не знаю, чего я ждала от Ади, но точно не того, что услышала тогда:

– Shit happens.

– Что?

Ади спокойно, с некоторым сожалением смотрел на меня. Я пыталась по его лицу угадать, что же он чувствует на самом деле. Но не могла. Он был непроницаем, как космический скафандр. Я была разочарована и даже пристыжена.

– Помнишь сказку про угольщика Петера Мунка? Иногда мне кажется, что у тебя вместо сердца холодный скользкий камень... – попыталась я пробить эту убивающую меня сдержанность.

– I have no stones yet, – весело парировал Ади, звонко похлопав себя по животу.

– У тебя душа – не потемки даже, а настоящая камера obscura. Когда я с тобой разговариваю, то все время боюсь споткнуться о какой-нибудь порожек или удариться головой о притолоку.

– Да-да, – рассмеялся Ади, – а ты мне напоминаешь слепого новорожденного котенка: хочешь лизнуть мой нос, но вместо этого слюнявишь мне подмышку. Открой глаза, my lovely Да...

Я не могла вынести этого шутивного тона и почувствовала, как слезы подступают к моему горлу. И то были отнюдь не слезы счастья. Я развернулась и пошла домой. Ади крикнул мне вслед:

– Люди все время забывают, что жизнь – это не смертельно.

Я тут же вспомнила, что где-то читала эту фразу. Я обернулась на мгновение и одними губами прошептала «До завтра». Но, кажется, Ади понял и помахал мне рукой, а сам пошел к кораблю.

X

Я шла и думала, почему со мной все время случаются всякие нелепые, идиотские истории. Как можно влюбиться в мужчину, которого знаешь от силы пару дней, проведя с ним всего одну ночь? И любовь ли это? Что там, в постели, со мной произошло? Я же помню, что буквально еще вчера

вечером я сидела на кушетке в гостиной, и близость Ади меня едва ли волновала: я еще была пуста и холодна, сильна и независима, отчуждена и неуязвима...

Я подошла к дому и неожиданно увидела Ива, сидящего на скамейке. Он сидел в какой-то неестественной позе, поджав ноги и склонившись над своими коленями. Видимо, услышав мои шаги, он вскочил и бросился ко мне:

– Лида, где вы были?

Лицо у него горело, зрачки были как у наркомана.

– Гуляла, – ответила я, глядя в его взволнованное лицо.

Ручаюсь, он был в стельку пьян. Я уловила запах крепкого алкоголя.

– Я сначала ждала, но вас так долго не было...

– Да, мне пришлось съездить в Перпиньян, кое-что выяснить, убедиться, как говорится, своими глазами. Пойдемте наверх.

Мы поднялись по лестнице и вошли в мою хибарку. В этот раз Ив сел на мою кровать, а я заняла его прежнее место – в кресле.

– Лида, помните, вы говорили о мертвых людях?

– Да, помню, конечно.

– Расскажите про того приятеля, который погиб.

– А что рассказывать? Он разбился на машине.

– Вы видели его мертвым?

– Нет. Я не смогла даже на похороны пойти.

– Почему?

– Не знаю... Я не могла видеть его... таким.

– Но вы его все-таки видели после смерти? Живым, я имею в виду?

– Да.

– Как он выглядел, расскажите еще раз.

– У него было изуродовано лицо – много ссадин, синяков, шрамов.

– А как вы думаете, он мог быть, на самом деле, изуродован в этой страшной аварии?

– Думаю, да. Мне говорили, что он головой вышиб лобовое стекло.

– Вам говорили это до или после того, как вы его видели живым?

– Не помню.

– Понятно, – сказал Ив и совсем сник.

Помолчав, он спросил уже почти совсем робко:

– А дедушка?

– Что дедушка?

– Как он умер?

– Своей смертью, от старости.

– Ясно, – сказал Ив и вздохнул.

Воцарилась неловкая тишина.

– Хотите чаю? – нарушила я молчание.

– Да, пожалуй.

Ив еще полчаса мучил маленькую чайную чашку, не проронив ни слова. Потом резко встал:

– Мне пора.

– Может, еще чаю?

– Нет. Надо ехать.

Я проводила Ива и еще долго не могла уснуть, встревоженная его вопросами и прерванным, не вяжущимся с первым впечатлением о нем, видом.

На следующее утро ко мне пришел Ади. Вообще-то мне снилась Маргарита Вильгельмовна. Я у нее спрашивала, можно ли мне выпить немножко водки – она почему-то ответила «Да», а покурить травку? – снова «Да», а легкие наркотики? – «Да, да, да»... Во сне я очень удивлялась и переспрашивала по нескольку раз, но в ответ слышался все тот же возбуждающий ответ. В конце концов, я открыла глаза и услышала явственное «Да», несущееся с улицы. Я доплелась до окна и увидела Ади, рвущего глотку что было сил. На часах была половина седьмого.

Когда я спустилась вниз, Ади нетерпеливо кинулся мне навстречу:

- Как долго ты собираешься, с ума сойти можно.
- Между прочим, ты меня разбудил. Что за необходимость поднимать меня в такую рань?
- Мне надо кое-что тебе показать. Кстати, когда ты уезжаешь?
- Послезавтра. А что?
- Хорошо. Еще есть немного времени.
- Для чего?
- Для всего.

Ади снова взял меня за руку, и мы побрели к пляжу. Целью нашей ранней прогулки оказался все тот же корабль на берегу моря. Мы поднялись по какой-то потайной лестнице на палубу и спустились затем вниз, в отсек, где когда-то располагались каюты. Ади подтолкнул меня вправо, и я оказалась в маленькой комнатке с деревянной скамьей у стены и мутным иллюминатором, сквозь который была видна почти вся набережная.

– Садись, – показал на скамейку Ади.

Я послушно села и с любопытством уставилась на Ади.

- Дорогая моя Да! Это мое любимое место на всем побережье. Здесь я играю.
- Играешь? Слушай, прекрати меня морочить – тебе, кажется, не десять лет?
- Да, мне не десять лет, – задумчиво произнес Ади.

– Знаешь, Да, мне очень хотелось именно тебе рассказать и показать все это. Когда я прихожу сюда, то представляю себя Одиссеем, который ищет дорогу домой. Ищет и не может найти... Я гляжу в окно и высматриваю живых людей. Мне так хочется побыть с кем-то... С кем-то очень живым. Я тебя отсюда увидел. Еще когда ты из ресторана выходила. Ты была грустная. Почему ты так часто бываешь грустной?

- Не знаю. Наверное, потому что не могу найти чего-то очень важного...
- Черт! Ведь и со мной такая же история! Как ты точно это сказала!

Ади вырвал у меня из рук зажигалку, которой я игралась, зажег ее и смотрел на огонь минуту-другую. Потом, видимо, обжег пальцы и дернул руку к губам.

– Помнишь, ты говорила о Боге? Знаешь, я не верю ни в какой ад, ни в какие адские муки. Скажи, что какие-то пытки по сравнению с бесконечным одиночеством? Что может быть ужаснее того, чтобы оставить человека совсем одного, один на один с самим собою. Некому тебе пожаловаться, некого пожалеть, не у кого попросить прощения, некого простить... Только ты и твои мысли – кошмар.

Я помолчала, обдумывая его слова и искренне желая как-то его утешить.

- Ади, возможно, одиночество – это только дорога. Но где-то есть и цель, и смысл...

Ади засмеялся:

- Поначалу ты не показалась мне оптимисткой.

Весь день мы гуляли с Ади, не разнимая рук. Время от времени Ади преграждал мне путь, тихонько обнимал меня и, заглядывая мне в глаза, целовал меня в губы. Мы ни разу не вспомнили о еде и воде – просто шлялись, как потерянные дети: подбирали забавные камушки, строили башни из песка, толкали друг друга в море, промокли насквозь – так, что под вечер я основательно продрогла; Ади пел детские песенки на немецком и венгерском языке, а я ему в ответ – про маленькую елочку русской снежной зимой.

XII

Накануне моего отъезда Ади напросился ко мне в гости: «Хочу посмотреть твои вещи». Мы поднялись наверх и, пока я готовила ему кофе, он успел сообщить, что, к сожалению, не сможет завтра отвезти меня в аэропорт – есть неотложные дела. Я его успокоила:

– Меня отвезет другой человек. Мы уже договорились.

– Хорошо, – заключил Ади и неожиданно прыгнул в мою разобранную постель. Он обернулся простыней и впился зубами в подушку.

– Теперь я понял, какой у тебя запах, – проурчал он, выныривая своей озорной головой из простыней.

– Какой?

– Ты пахнешь мокрыми желудями.

– Какой ужас! – покраснела я. – Вот что значит – пренебрегать дезодорантом.

– Почему? Мне, наоборот, нравится.

Я накрыла столик и позвала его пить кофе, но он, видимо, не желал сидеть на месте и продолжил свои исследования. Ади заглянул в ванную и вышел со счастливой улыбкой, держа в руках мои духи.

– Это твои?

– Ага.

– Прекрасный запах. Подари их мне.

– Бери, – не задумываясь, сказала я, и Ади тут же засунул их в карман джинсов.

Потом его взгляд упал на единственную книжку, которую я взяла с собой в дорогу, пылившуюся теперь на прикроватной тумбочке.

– Что за книга?

– «Две жизни».

Ади удивленно поднял брови.

– Почему две?

– Долго объяснять.

– Ну, пожалуйста.

– Ну, если коротко – то это про две жизни: телесную и бестелесную.

– Как это – бестелесную? Ты веришь в жизнь без тела?

– Да. Я верю в духовную жизнь.

Ади внезапно посерьезнел и начал листать книжку.

– Ади, там нет картинок, – усмехнулась я.

Он отложил книгу в сторону и, подперев руками подбородок, уставился на меня.

– Пей кофе.

– Не хочу.

В полной тишине я выпила свою чашку кофе и принялась собирать чемодан. Ади выхватывал у меня из рук то юбку, то кофточку и примеривал на себя, кокетливо выставлял ножку вперед и накручивал на пальцы воображаемые локоны.

Уже за полночь Ади встал, и я поняла, что это все.

– Скажи мне что-нибудь на прощанье, – попросил он.

Я посмотрела на него и с чувством процитировала Есенина:

– Auf wiedersehen, mein Freund, auf wiedersehen. Du bist, mein Liebster, noch in meiner Brust...

Я заметила, как он вздрогнул на слове «милый» и попытался скрыть свое смущение, как всегда, сарказмом:

– Deine Brust ?.. – Адриан вызывающе уставился на мою более чем скромных размеров грудь.

– Боюсь, я великоват для нее... Я сам в себе не помещаюсь...

Так мы простились. Ади долго стоял, обнявшись со мной, и гладил меня по волосам. Потом ушел.

XIII

Ив был как будто рад, что избавляется от меня навсегда. Всю дорогу в аэропорт он твердил мне, что я должна сразу по прибытии ехать к Маргарите Вильгельмовне. Я безучастно кивала головой и изо всех сил старалась вобрать в себя заочный пейзаж. Скупой, но прекрасный.

Уже прощаясь, Ив со значением сказал мне:

– Лида, я видел его.

– Кого его?

– Адриана Вилье. Я специально ездил в Перпиньян. И я видел его, – вновь повторил он внушительно.

– Да? Странно, последние дни он почти все время был в Ле Баркаресе. Но, может, у него в Перпиньяне какие-то дела были...

Ив сокрушенно покачал головой и отвел глаза. Потом достал из-за пазухи свернутую в трубочку газету и сказал:

– Вот – почитайте в самолете.

Я взяла газету, мы пожали руки, и я пошла к стойке регистрации. В самолете было очень холодно. Так холодно, что временами меня била дрожь. Пледов не оказалось, а все свои вещи я сдавала в багаж. Только под конец полета я вспомнила о газетке, которую сунул мне Ив. Я просмотрела ее без особого интереса: конкурс виноделов, выступление мэра, инвестиционный фонд, продажа акций какого-то завода и т.д. На последней странице были, как водится, частные объявления – ничего интересного, кроме одной заметки. Прочитав ее, я почувствовала, что теряю связь с реальностью. Вот полный текст этого объявления:

«Четыре года назад департамент Восточные Пиренеи потрясла чудовищная трагедия: в автомобильной катастрофе погибли сразу 17 человек, включая семью директора археологического музея, Рудольфа Вилье. В живых остался лишь его младший сын – Адриан, который был немедленно госпитализирован в состоянии глубокой комы в клинику Перпиньяна. С великой скорбью сообщаем, что сегодня ночью, в 02:15, Адриан Вилье, не приходя в сознание, скончался от гипоксии головного мозга. Похороны и панихида состоятся 12 декабря, в 15:00 на кладбище Сен-Поля».

Я тут же вспомнила, чье имя было на надгробии на пятой фотографии в доме Ади. Это было его имя.

XIV

Маргарита Вильгельмовна утверждает, что окончательно я смогу выздороветь, только если научусь любить живых людей. А я ей отвечаю: «Мертвые – тоже живые».

ЗАКАЗНОЕ САМОУБИЙСТВО

Говорят, если человек серьезно думает о самоубийстве, то он об этом распространяться не станет. Не знаю, не знаю... Мне кажется, что если кто о чем серьезно размышляет, то ни о чем другом и говорить-то не может.

Мысли о суициде меня не покидали с двенадцати лет. Помню редкий день, когда я об этом не думала. Вот у какого-то писателя, кажется, было: «Детство – это то немногое, чего не стоит стыдиться». У меня же, напротив, именно с детством связано чувство жгучего, бессильного стыда. Началось все, как это водится, с любовной драмы. В шестом классе я влюбилась в девятиклассника, которого звали Марк Штайнерт. Вообще-то говорили, что он поволжский немец, приехал откуда-то из Марий Эл, но в школе его дразнили «жидомасоном», находя в его внешности что-то еврейское. Хотя я была уверена, что он больше походил на грека.

Грека я видела всего один раз, и то на фотографии – в новомодном журнале, который привез из столицы мой старший брат-студент и спрятал на книжной полке в альбоме ничего не подозревающего Дюрера. Но я его, естественно, нашла и внимательно прочитала от корки до корки. Тогда как раз началась эпоха «раскрепощения», и первые желтые журналы упивались живописанием интимных подробностей жизни звезд, в основном, заграничных (наши еще, видимо, не раскрепостились в достаточной мере), будоражащих фантазию сексуальных отклонений, «творческих путей» серийных маньяков и т.д. Родителям такое бы вряд ли понравилось, поэтому брат и заныкал журнальчик от греха подальше. Там была статья, которая поразила мое воображение, об одном известном шведском корифее киноискусства, который был влюблен в прекрасного греческого юношу, носатого гомосексуалиста с лебединой шеей и длинными волосами. Юноша не отвечал ему взаимностью, а режиссер страдал: там было процитировано несколько стихов, написанных этим утонченным ценителем мужской красоты своему вероломному демону. Юноша и вправду был необыкновенно хорош, особенно взгляд – несколько отрешенный и, даже можно сказать, мудрый – вступающий в какое-то дикое противоречие с его молодостью и, конечно, горбинка на носу.

У Марка тоже был длинный нос с небольшой горбинкой, сросшиеся на переносице брови, придававшие его лицу довольно мрачное выражение, длинные медлительные глаза и тонкие саркастичные губы. Свои темные вьющиеся волосы, прикрывавшие уши, он обычно небрежно откидывал назад. У него была широкая спина, но он сутулился, будто стеснялся своего роста, поэтому выглядел долговязым и некрепким. Я никогда не видела, чтобы он во что-нибудь играл, носился как угорелый, дрался, хохотал над какими-нибудь сальными шутками одноклассников, бегал курить в соседний двор... Он хорошо учился, но «ботаником» его не считали. Наверное, потому что он часто дерзил учителям, и его родителей не раз вызывали в школу для проработки. Но все-таки был он какой-то необъяснимо странный, неадекватный какой-то: мог не ответить на вопрос или просто так посмотреть, что все вопросы отпадали сами собой. Когда я случайно (а чаще, конечно, далеко не случайно) попадалась ему на глаза, то под его тяжелым взглядом у меня потели ладошки и подгибались колени. Я почему-то была уверена, что у него за душой какая-то страшная тайна, непостижимая глубина, трагедия.

Моя же трагедия заключалась в том, что надеяться на взаимность мне не приходилось. Дело было, конечно, и в возрасте – в то время три года разницы были просто пропастью (он уже практически сформировавшийся мужчина, а я – малолетка без размера груди). Но главное все-таки заключалось в моей внешности. Было очевидно, что такой тонкий, бледный мальчик с необычной фамилией не может обратить внимание на упитанную, розовошекую (кровь с молоком!) девочку с поперечно-продольным плоскостопием, неуклюжей походкой и не слишком благозвучной кличкой «Кобыла», которой услужливо снабдили меня идиоты-одноклассники, творчески переработав мою фамилию Копылова.

Но все же я надеялась. Большею частью – на время. Судя по моим родителям и брату, детская припухлость должна была рано или поздно сойти, и из гадкого откормленного утенка я должна была непременно вырасти в стройную красавицу. Вот только дождетс ли Марк той благословенной поры? – сомневалась я.

Надежды мои рухнули в одночасье, в какую-то долю секунды, когда я поскользнулась на кафельной плитке в раздевалке, убегая от мальчишек из своего класса. Выпало много снега, и они, налипнув на улице снежков, устроили облаву на всех девчонок, пытаясь засунуть ледышки нам за шиворот. Я всегда была не особенно ловкой, но тут рухнула с таким эффектом, что вся беготня немедленно прекратилась, кто-то захихикал, а потом воцарилось тягостное молчание, которое длилось, казалось, целую вечность, нескончаемую вечность моего позора. Я лежала на животе, чувствуя, что у меня задралась школьная форма, но была не в силах пошевелить ни рукой, ни ногой. В этот момент я лютой ненавистью ненавидела свою гипертревожную маму, которая заставила меня утром надеть бабушкин подарок – голубые рейтузы с начесом. Прямо перед моими

моментально увлажнившимися глазами стояли ноги в коричневых ботинках. Это был Марк – он, видимо, одевался, чтобы идти домой. Все просто молча стояли вокруг меня, а он вдруг присел на корточки и взял меня за предплечье, пытаясь помочь подняться. Я закричала от боли, и он отдернул руку. Ничего не сказав, он ушел и вернулся через некоторое время со школьной медсестрой. Потом неинтересно: отделение травматологии, перелом лучевой кости, гипсовая лангета. В итоге, я проходила в школу полтора месяца с вытянутой вперед рукой, как Ленин на центральной площади города. Более глупого вида и представить нельзя. В сторону Марка я больше никогда не смотрела.

С той поры и стали у меня возникать всякие фантазии. Я думала о возможности самоубиться безо всякого страха и брезгливости, не особо заботясь о том, каково будет моим родным. Наоборот, я испытывала чувство глубочайшего удовлетворения, неотделимого от мстительности, на которую, как мне казалось, я имела полное право, представляя, как сильно они будут страдать и мучиться, как невосполнима будет их потеря.

Сначала я думала о ванне. Утопиться было бы и эстетично, и романтично: отверженная Офелия, панночка-русалка, бедная Лиза... Потом я совершенно случайно наткнулась на крюк в нашей с братом комнате, который остался от моих подвесных качелей, и стала без отвращения думать и о повешении. Я даже нашла в кладовке моток бельевой веревки и попыталась смастерить петлю, но ничего не вышло – я не знала, как правильно завязать узел. Уже в конце школы я стала про падать на крыше нашего дома (благо, выход никогда не был заперт на ключ), облюбовав угол, под которым находилась троллейбусная остановка – мне хотелось, чтобы очевидцев было как можно больше. Помню, как я стояла у самого края крыши, наступив одной ногой на невысокий бордюр или как это там называется, и счастливо улыбалась, живо представляя себе искаженные ужасом лица людей, которые будут лицезреть мою глухо шмякающуюся на тротуар тушу...

Тем не менее, дурное воображение не помешало мне закончить школу и без особых усилий поступить в пединститут, чтобы стать учителем русского языка и литературы. К учебе я была совершенно равнодушна – поступила, чтобы отвязаться от родителей, которые считали, что без высшего образования я не смогу «выбиться в люди». Среди сокурсниц было много приезжих из области. Я испытывала (да и не скрывала) к ним откровенное презрение. Меня бесил их деревенский выговор, приторные улыбочки, пестрая одежда и тошнотворное дружелюбие. Обычно они сбивались в плотные стайки и перемывали косточки всем преподавателям и студентам. На лекции я ходила через раз, большую часть времени проводя либо бесцельно шатаюсь по городу, либо с друзьями по двору – в распитии спиртного. К этому времени я, действительно, похудела и стала нравиться сверстникам.

Дома были нескончаемые скандалы. Мама, найдя в кармане моей куртки пачку сигарет, бросила в меня утюгом (я увернулась). Отец докапывался с этой учебой (завкафедрой был его другом по тому же второсортному институту). Я вяло отбрехивалась и, в конце концов, перестала ночевать дома, оставаясь у кого-то из моих гостеприимных приятелей.

А приятели были исключительно парни. Даже не знаю, почему, но я сознательно избегала всяких дружб с девочками. Нет, никто меня не обидел, никто не предавал. Мне просто было с ними скучно. Меня не интересовали все эти побрякушки и шмотки, краска для волос и маникюрные наборы, свежие сплетни и романтические влюбленности (кто как посмотрел, кто что сказал, кто что подумал). Плевать мне было на все это. С мужчинами я могла говорить о главном, что меня интересовало, и они не делали при этом изумленных лиц, будто я призналась, что я гермафродит (да даже если и так, они восприняли бы это с энтузиазмом), не теряли дара речи. Напротив, со свойственным им здоровым цинизмом они могли и посоветовать, и поддержать, и направить. Словом, я могла с ними поговори т ь.

В один из очередных приездов брата я умыкнула у него прихваченную им в дорогу книжку Юкио Мисимы, где я к своему неописуемому восторгу наткнулась на рассказ «Патриотизм», тут же проглоченный и оцененный по высшему баллу. Все еще пребывая в возбужденном восхище-

нии, я старательно выписала технические подробности хакакири. Это было выше всяких похвал, сверх любых ожиданий, просто «привет оттуда». Моя фантазия заработала с утроенной силой, и вот я уже представляла, как на Воробьевском тупике, где, как всегда, многолюдно, я вспарываю себе живот. При этом мне очень хотелось, чтобы моей кровью забрызгало желательно каждого. Это был апофеоз моей концертной программы. Пусть каждый будет буквально з а п а ч к а н моей кровью, пусть ощутит ее влагу, ее густоту, ее липкость, а еще лучше – несмываемость. Это было бы действием настоящей сопричастности, коллективной вины, массового позора. Пусть никто не выйдет сухим из воды.

Когда я училась на втором курсе (папино знакомство с завкафедрой все-таки пригодилось), то у одного из моих друзей – Узбека – появилась машина. Ее отказал ему с барского плеча отец, потому что решил купить себе новую. Этот неожиданный сюрприз внес некоторое разнообразие в мою жизнь. Мы, набившись в машину под завязку, гоняли по городу, и картины рисовались одна другой краше. Я не только внимательно вглядывалась в траекторию движения несущихся навстречу фур, но и не забывала про участь пешеходов. Но это было слишком ненадежно, слишком многое зависело от случайностей и просто от других людей. А на них полагаться было никак нельзя.

В нашей компании время от времени появлялся некий чуждый элемент – Костик Сайкин. Чужд он был во всем: начиная от рода занятий и заканчивая внешним видом. В отличие от вечно празднующих нас, он мучил какой-то бизнес: весь в делах, каких-то переговорах, стрелках, от мобильного не отлипал. Был он чуть выше меня ростом, тщедушный и хлипкий, как не знаю что. На его тонкой белой шее болталась, как у китайского болванчика, непропорционально большая голова. Он все время кивал, хихикал, нашептывал скабрёзности и сучил ручонками, будто мысленно оглаживал чью-то аккуратную грудь. Костик носил только костюм и исключительно белые рубашки, манжеты которых всегда были грязными, что вызывало у меня особое отвращение. Вообще, его прыщавое лицо, длинные тонкие пальцы с черной полоской ногтей, глумливая улыбочка будили во мне сильное желание набить ему морду или просто взять безгильными пальчиками его за воротничок и повесить, как Буратину, на гвоздик. Самое интересное, что я даже не замечала, что нравлюсь ему. Он изредка отвечивал мне довольно сдержанные комплименты, а в остальном попросту игнорировал меня, будто я – пустое место, за керосином зашла. В нашей «мужской» компании он явно пытался доказать, что он такой же мужик. Но он им не был, это было видно по всему.

Однажды он позвал нас квасить к себе (какая-то удачная сделка у него там совершилась, и предки уехали на дачу). На стол был поставлен пятизвездочный коньяк, и мы все плотоядно облизнулись в предвкушении, потому что у нас обычно денег хватало только на пиво и хорошо, если не паленую, водку. Костик принес из кухни каких-то мясных нарезок, салатов в пластиковых контейнерах, маринованных огурцов – в общем, подготовился, потратился. Всего нас было пятеро: я, Костик, нежно любимый мною Узбек, Санек, его младший брат и Лапоть – наш личный специалист по отшибанию мозгов. Мы выпили пару рюмок, после чего Костик вдруг сошел с ума от собственной щедрости и воскликнул: «Господа! У нас тут, между прочим, девушка! Девушкам положены цветы!» «Лучше возложены», – поправила я. Ребята загоготали. Но Костик не унимался и стал их уговаривать сбегать мне за цветами – деньги он, мол, даст. Сначала они кочевряжились, но потом нехотя согласились и после очередной рюмки двинулись втроем искать открытый цветочный ларек.

Мы остались с Костиком вдвоем. Он нес какую-то чушь про бизнес, я недвусмысленно бросала взгляды на остатки коньяка. Потом я сходила в туалет, и когда вернулась, то мой стаканчик был полон. Я в два приема осушила его и... больше ничего не помню. Хоть в чем-то мне повезло. Косте тоже повезло, но меньше. Видимо, из-за чрезмерной основательности он переборщил с дозой клофелина, потому что проснуться на следующий день самостоятельно я так и не смогла.

Я очнулась ночью и наткнулась на мамино лицо. У нее были совершенно черные круги под

глазами, дрожали губы. Я никогда не видела ее такой. Заметив, что я пришла в себя, она тихонько сжала мою руку и прошептала: «Доченька... Доченька моя...» Во рту было сухо и горько, саднили вены на руках, меня сильно подташнивало, в ушах была какая-то вата, мне казалось, что я слышу мамин голос с каким-то опозданием, преодолевающим невидимые между нами сферы. Так и было, потому что я вернулась издалека. Я с каким-то усталым отвращением уставилась в окно напротив, в котором отражался фонарь у меня над головой. В его тусклом свете было средоточие всего этого жалкого мира, этой бесцветной реальности, этого затхлого пространства, в которое меня вернули, не спросив. Я поняла, что никогда и никому не смогу доверить свое новое знание, что теперь во мне бьется второе сердце, больше и лучше прежнего, что я родилась не здесь и не здесь мне умирать...

Из реанимации меня перевели буквально через пару дней. Потом приходил какой-то дядя из прокуратуры, но у меня уже было время подумать, поэтому процедура заняла всего полчаса. Моя версия не вызвала у него ни сомнений, ни комментариев. Он монотонно задавал свои скучные вопросы, я отвечала кратко, по делу, не ловилась на его провокационные уточнения по поводу занятий и знакомств моих друзей. Потом подписала бумажки, он сухо попрощался и ушел. Все.

После этого мысль о самоубийстве совсем оставила мою шальную голову. Да и к чему теперь это было бы? Ведь одну попытку я уже, получается, совершила, что зафиксировано и официальным протоколом, и актом судебно-медицинской экспертизы.

Костик вскоре после той истории женился и уехал в Москву. Иногда, раз в полгода, я получаю от него письма по электронной почте (Лапоть дал мой адрес). Пишет о работе, семье, настроении. Чувствуется, что он хочет похвастаться, но выходит такая тоска и безысходность, что хоть на Луну вой. Особенно меня веселит его подпись: «Всегда твой, Константин». Я ему иногда отвечаю. Даже не знаю, почему. Может быть, хочу что-то доказать себе. Или ему. А может, мне просто его жаль, и я хочу его как-то утешить? Ведь сказать ему напрямую, что я давно его простила, я не могу – он никогда не просил у меня прощения.

Как-то Узбек спросил меня, поняла ли я что-нибудь особенное после того, что со мной случилось, открыла ли истину, стала ли мудрее. Я не нашлась, что ему ответить тогда. Да и нечего, собственно. То, что я поняла, знает каждый школьник: что я просто человек, не больше, но и никак не меньше; что самоубийство – это вроде той «свечки», которую ловят в игре в «вышибалы», и лучше ее приберечь на по-настоящему черный день; что и у черного есть оттенки; что жизнь... Что жизнь – это всего лишь жизнь.

Сергей ФОМИН

Бесшумный лёт велосипедный,
Бесследной думы дымный знак
Вопроса, колеи зигзаг,
Нить млечной пыли под передним.

Смеркается. Сомнений морок
Сгущается. Пустеет даль,
Пригоршню придорожных ёлок
Наматывая на педаль.

Во тьме отвесной око зорче.
Округа – мрак сменяет муть –
Уже слепа, но лентой кормчей
Всё стелется белёсый путь.

Плывёт навстречу, груди щебня,
Чету невнятных обогнув.
Проваливается сердце, с гребня
Просёлочной волны скользнув.

Размаянного дня успенье
Почти мгновенно, и вот-вот –
Подмена мест, колёс круженье,
Смещение времени – нырнёт

Из этих мест в родимый омут,
Где нет их, и примет их нет,
Мой чёрный, тонкий, невесомый
Стремительный велосипед.

Сергей Фомин родился в 1967 году в Москве. Окончил Московский педагогический государственный университет в 1994 году. В 90-е опубликовал несколько статей о Ходасевиче, Набокове, Галковском и др. в журналах «Вопросы литературы», «Литература в школе», в газетах «Литературная Россия», «Завтра». Стихи ранее не публиковались. Живет в Москве, работает водителем в Интернет-магазине.

Поздняя осень, как скупое сравненье,
Сдержанна; как явь, глубока.
Драгоценная слякоть, пленное пенье
Тишины, облака.

Мёрзлые листья в стынущих лужах –
Хруст податливый и всплеск под ногой.
Смотрят не вдаль – в неизбежную стужу –
Клён промотавшийся, тополь-изгой.

Ни к чему не привязаны, ходим краем
Сознания, бросив догадки на тему: кто мы.
Как слова из строки, выпадаем
Из тел: грузны, легки, невесомы.

Когда не о чем мне, но настойчивы, гулки
Растревоженной тайны отзывы,
До чудес ли, шепчу, опиши хоть прогулку.
Чудо лживо, покуда мы живы.

От двора ко двору я влачу твои санки
Чередую качелей и к парку влеку.
Так строптивая мысль, истомив, спозаранку
На полозьях пословиц въезжает в строку.

Мы заходим с угла, где, смыкаясь с домами,
Он встречает нас высохшим прудом. Идём,
Оставляя на после знакомство с горами,
По дорожкам, где каждый шиповник знаком,

Где едва ли не с каждого клёна собирали
Золотую, зелёную, красную дань.
Нынче здесь тишина, будто разом убрали
Звук и цвет. Мы ступили за грань

Их. Твой третий декабрь по оплывшему следу
Чьих-то лыж нас выводит к мосту
Над овражком. Задержимся. Ты ему предан
С давних пор за его высоту,

За ограду, дотронувшись лбом до ограды,
Свесив ногу меж прутьев, следить свысока
Шелестящий полёт своего листопада
И попутную осыпь камней и песка.

И теперь, насладившись обвалом сырого,
Перезревшего снега со скользких перил,
Ты стоишь на краю. Половина второго.
Но и время помедлит, чтобы ты не спешил.

Впереди ещё дивный дворец и обратный
Путь. Ты спрашиваешь: «Где путь?»,
«Где дворец?» Как далёкие светлые пятна,
На глазах обретают место и суть

Перелётные звуки. И это – подполье
Воспоминаний. Сам со свечой
Негасимой, под снежною солью
Прожитого сойдёшь сюда, сыщешь здесь свой,

Становящийся санным и снова отдельный,
То спешащий назад, то бегущий на зов
Долгожданной скамейки со старцем поддельным,
То затерянный вовсе среди прочих следов.

Догоняй же! До луж на тропинках утоптан
Рыхлый снег. Горяча от недолгого бега рука.
Всё слышней голоса. Вот и пруд допотопный
Подставляет под быстрые сани бока.

Ольга КОРОБКОВА

Имя твоё опустело,
флейта замолкла,
внутренний Гаммельн сгорел.
Невозвращенье.
Свет, пустота и покой,
дождь и прохлада...
Имя, пустое, как клетка,
клетка без сердца,
дом без жильца.
Имя, лишившись тебя,
кануло в Яндекс.
Флейта заткнулась,
и не с кем оплакать
даже того, что сбылось.

Благослови Господь невинные времена.
Благословил уже. Ради того и были.
То, что стало потом – отливная волна,
дымовая завеса, облако едкой пыли.

В этой квартире нас перебелил рассвет,
здесь «наконец вдвоём!» выросло, воплотилось,
но в родном языке такого времени нет,
которое, миновав, в прошедшем – длилось и длилось.

По-эллиински умирать мы уже не вольны:
вот бы теперь!.. счастливой!.. – а с другой стороны,
смерть так и так придёт за своей половиной.
Сквозь стены в новых обоях мне прекрасно видны

Ольга Коробкова родилась в 1975 году в Рыбинске Ярославской области. Работала заведующей музеем профессионального лицея, журналистом, корреспондентом. Автор-исполнитель песен на стихи классических и современных поэтов. Член Союза российских писателей. Публикации: журналы «День и ночь», «Арион», «Дети Ра» и др., сборник «Новые писатели России»; интернет-публикации: «Органон», «Пролог», «Колесо», евразийский журнальный портал «Мегалит». Живёт в Рыбинске.

мгновения прежней жизни – пейзаж всё тот же, невинный:
мальчик пишет в тетрадь, девочка ждёт весны.
Они никогда не станут женщиной и мужчиной.

Путь трамвая за стеной.
Комната дрожит.
Разнобой бродячих фар.

Нет хозяев, вместо них
Будем мы с тобой.
Та квартира, где навек.

День в тревожной духоте.
Ливень, ночь, гроза.
И по рельсам едет гром.

На балконе покурить,
Слушая трамвай.
Так тому и быть. С тобой.

Ровный шум, стеклянный звон.
Рано. Спи ещё.
И в окне рассветном встал
Жизни силуэт.

Виктория МАРЧЕНКОВА

вы свободны
вы свободны

локатор в семнадцать-ноль-одну
366 дней в году
повторяет

366 дней стало с тех пор
когда была выполнена
просьба потребителя
не лишать его лишних суток

с тех пор время постоянно движется
и отменены времена года
прошли осенняя депрессия и летняя хандра
зимняя меланхолия и весеннее обострение
теперь все счастливы

по улицам ходят муми-тролли,
те самые что толстые и с хвостами,
белые а некоторые меняют цвета под обстановку
на итальянской таможне убрали табличку по trolleys
чтобы не обижать даже самые маленькие народности
случайным звуковым родством

Моя подруга подходит к пределу нервного напряжения
А я смеюсь над словом иллюминатор
И будучи в красном коктейльном платье поднимаюсь на третий этаж
В котором пахнет сортиром
Ради сомнительных и еще два раза эхом
Сомнительных, сомнительных перспектив

Виктория Марченкова родилась в 1987 году в Москве. Окончила Школу фотографии и мультимедиа им. Родченко, учится в аспирантуре РГГУ. Художник, автор статей об искусстве.

Понимание того, каким должен быть конец, разнится
1 читает книгу
Там самолет, Бразилия, далее по списку
2 смотрит кино
Вылететь из такси, побежать за кошкой, остаться в Нью-Йорке
А называется это одинаково
Культурные коды
Фикция

Данила ДАВЫДОВ

ЭМБЛЕМАТИЧЕСКАЯ ПРОЗА

Марианна Гейде. Мертвецкий фонарь: Повести, рассказы. – М.: Новое литературное обозрение, 2007. – 344 с.; Бальзамины выжидают: Рассказы. – М.: Русский Гулливер, 2010. – 318 с.

Проза Марианны Гейде (собранная в двух книгах)*, лауреата нескольких премий («Дебют», «Молодежный Триумф», «Московский счет», «Стружские мосты»), интерпретирована в предисловиях и послесловиях Андрея Левкина, Александра Уланова и Олега Дарка соответственно. Они, впрочем, не отменяют дальнейшего подробного рассмотрения текстов одного из самых ярких авторов молодой литературы (кажется, о Гейде можно говорить чуть ли ни как о своего рода культовом авторе).

Первая книга содержит и повести, и небольшие рассказы (жанры повести и рассказа, впрочем, здесь проблематизируются), и фрагменты сетевого дневника. Большая часть второй книги – прозаические миниатюры или, по крайней мере, тексты небольшого объема. Исключение, строго говоря, только одно – рассказ «Очень плохо, хуже некуда» на двадцати страницах; иной автор в этом объеме только бы развернулся, сверхплотное же письмо Гейде заставляет видеть в этом рассказе свернутую в пружину повесть – как, например, текст «Время цветения шучьего хвоста» из первой книги представляется своего рода «спрессованным» романом.

Вот и Александр Уланов справедливо пишет о прозе Гейде: «Граница между такой прозой и стихотворением почти стерта. Потому что стих – не ритм и не рифма, а концентрация и многозначность. Взгляд, не желающий растекаться в роман. Лучше – всматриваться, вживаться в деталь, в подробность. Пока она сама не покажет свою

жизнь». Критик вспоминает здесь и французскую поэтико-прозаическую традицию (в лице Франсиса Понжа), и того же Андрея Левкина. Занудливо уточняя, что стих – это именно ритм (а в первую очередь – двойная сегментация), а вот метафорически понятая поэзия вполне подпадает под улановское описание, отмечу действительно близость малой прозы Гейде к европейской традиции смещения границ прозаического и поэтического; помимо Понжа вспоминаются и Рене Шар, и Анри Мишо, и даже, быть может, Сен-Жон Перс; из отечественных авторов, инкорпорированных в европейскую традицию, назову Вадима Козового. Сравним:

«Я высек дубовое сердце в мачте впередсмотрящих. И я уснул.

Я высек в жилах ночной колоды искру без солнечного конца. И я пробудил василиска, но он, увы, оказался ручным.

Тогда в языках дракона я, горше крупицы моря, высек ту кристаллиду, которой ждал отродясь, хотя не чуяло сердце, что проснуться ему – из колоды и что, засыпая вспять, оно не уймется и не возвратится без дубовой мачты впередсмотрящих, без искры, без жилистой мачты, где звать должно, варварским василиском, солнечного конца» (В. Козовой,** «Дубовое сердце»).

«Деревья, поваленные бурей. Их кожура, слоющаяся, точно старая бумага, сквозная на просвет. Их розоватая, отдающая на вкус смолой древесина – точно мясо некой большой птицы, давно вымершей и оставившей от себя лишь жалобный скрип. Полунагие сломленные сосны лежат на дороге, заламывая дюжину своих замысловато изогнутых рук. Кора их так нежна и податлива, как кожа змеи, и так же неохотно хранит следы человеческой ласки: её запах забивается в поры, не даёт продохнуть, отнимает имя и всё, что ему способствует» (М. Гейде, «Деревья, поваленные бурей»).

Видна интонационная близость – впро-

* Также Гейде автор стихотворных сборников «Время опыления вещей» (2005) и «Слизни Гарроты» (2006).

** Козовой В. Прочь от холма. Париж: Синтаксис, 1982. С.55.

чем, уверен, что сближения носят здесь типологический, а не генетический характер, но видны и различия: Козовой отдается ассоциативной стихии, в сущности, уходя от репрезентации образа; Гейде образ дробит, расслаивает, но пытается отразить все образовавшиеся смысловые осколки.

В той же французской (да и не только, вообще европейской) традиции совмещаются в рамках поэтической традиции тексты собственно стихотворные и те, которые мы атрибутировали бы как прозаические миниатюры. Ни в одной из книг Гейде не делает этого напрямую; однако в ее поэтической книге «Слизни Гарроты» содержится особое приложение – несколько автокомментариев к стихам. Будучи глубоко аналитичными, они, в то же время, во многом напоминают малую прозу Гейде как таковую. Жанр у Гейде размыт, мини-исследование, рассказ, стихотворение в прозе, притча, фрагмент, реплика – грани между этими образованиями нет. И если ассоциация с новоевропейской поэтической линией возможна, то она никак уж не оказывается исчерпывающей.

Так, в текстах Гейде мы видим ту самую неканоническую притчу, внутреннее исследование не только и не столько слов, сколько взаимодействий между объектами (в том числе, разумеется, и словами). И здесь вспоминаются, конечно, не Понж и не Мишо, но притчи Кафки (и вообще порожденная ими традиция).

Но, идя вглубь, вспомним о философской профессии Гейде (она – историк средневековой философии). Олег Дарк пронзительно выделяет еще одну важнейшую для настоящей книги (и вообще прозы Гейде) традицию: «Это книга природы: растений, и рыб (вообще обитателей моря), и зверей. (И «книга детей», конечно, тоже.) Более всего напоминает древнерусский «Физиолог» или средневековые «Бестиарии». («Этимологии Исихора Севильского» – сюда же)». В упомянутых выше автокомментариях Гейде встраивает собственные стихи в этот самый средневеково-перечислительный ряд, но по-

нятно это становится именно после книги «Бальзамыны выжидают». Действительно, перед нами невиданные твари, чьи свойства необычны или неописуемы; поэтому описание этих свойств разуплотняет, лишает предметности описываемые объекты, парадоксальным образом остающиеся при этом вполне действующими, наличествующими:

«Сладко также смотреть на скорпиона. Сей достойный представитель арахниды воздевает могучие шоколадные клешни полувоинственным-полужреческим жестом, одновременно изгибая хвост, весь из перетянутых в ниточку сочленений. Темнокожий, лоснящийся маслом и избытком собственного мужества атлет. Жало его изогнуто, и весь он точно живой приоткрытый свиток. На просвет скорпион полупрозрачен, на ощупь почти невесом. Умерев, становится сух, лёгок и почти не подвержен тлению. Только еле уловимый запах (сухой лист с примесью чего-то сладковатого) доказывает отсутствие в нем жизни».

Неструктурные свойства «растождествляемых предметов» у Гейде отчасти напоминают эффект, производимый неструктурным бытием у Леонида Липавского в его знаменитом «Исследовании ужаса». Впрочем, здесь скорее можно говорить не об «эстетике ужасного», но об «эстетике жуткого» (в терминологии философа и эстетика Сергея Лишаева): непредсказуемость реакции бытия на тот или иной раздражитель, да и просто его саморазвертывания, вне всякого раздражителя, вызывает именно жуть.

Этот эффект не то чтобы противопоставлен, но обустроен Гейде в рамках структуры. Те же самые средневековые каталоги, бестиарии, перечни по сути есть рациональная корочка над бульоном дикой и нерасчленимой реальности. Из этого следует задача приручения, исчисления, знаковой трансформации. В прозе Гейде жуть невозможно (проступающего, между прочим, сквозь обыденное) приобретает эмблематический характер. Исследователь пишет о средневековом образе: «Теологическому и рито-

рическому плану визуального образа... соответствуют две функции образа, о которых говорят «Карловы книги» – *metopia* и *ornamentum*, память и украшение. Эти два плана и две функции задают нам два направления, по которым можно осмыслить иконографию дьявола. В ней можно выделить фигуративный рассказ о реальной (с точки зрения средневекового человека), но в то же время исполненной теологического смысла *historia*: о падении ангела, ставшего чужим миру и Богу, о судьбе и природе этого абсолютно чужого. Но можно выделить в ней уровень визуально-риторической украшенности (*ornamentum*), составляющей часть красоты храма и мира...»*.

В случае прозы Гейде мы сталкиваемся со схожей двойственностью (пусть осуществляемой не в визуальном, но в вербальном образе). Антропоморфизация неантропоморфных существ и предметов параллельна расчеловечиванию человеческих персонажей; описываемое всегда не то, что оно есть: «Куст берсеклета стоит голый, без листвы, украшенный лишь распахнутыми плотными корбочками, из которых на тонких листьях свисают, показываясь, глазные яблоки величиной с горошину. Точно увидел вдруг нечто такое, от чего глаза вмиг повыскакивали у него из орбит».

Но этот ужас, эта жуть нетождественности мира самому себе заглушаются риторической четкостью, превращающей монструозные проявления мира в притчу-эмблему (или, если угодно, распространенную на весь текст отдельную метафору), иллюстрацию, пусть и не ясно, к чему именно.

Многие тексты Гейде, как и положено эмблеме, статичны. Есть и иные, динамические: они характерны скорее для первой книги, нежели для второй, но встречаются и в «Бальзаминах», к примеру, тот же вышеупомянутый рассказ или мини-повесть «Очень плохо, хуже некуда». Но и здесь

* Махов А.Е. Средневековый образ: между теологией и риторикой. Опыт толкования визуальной демонологии. М.: Intrada, 2011. С.12-13.

двойственная закономерность «памяти» и «украшения» предстает действенной: жуть немотивированного никуда не девается, но уравнивает ее уже не риторическая четкость, а постгуманистическая ирония, нацеленная на сам субъект говорения не в меньшей степени, нежели на объекты, которыми он в некотором недоумении манипулирует. «Мертвецкий фонарь» завершается подборкой ЖЖ-записей. В книге «Бальзамины выжидают» многие тексты также печатались как регулярные записи в блоге. Но, собранные воедино, они предстают вполне целостным проектом, пусть и репрезентирующим максимально нецелостный и неинтерпретируемый мир.

Станислав СЕКРЕТОВ

ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮЙМАХ

Дмитрий Данилов. 146 часов: Путевой отчет // Дружба народов. – 2012. – № 1; Описание города: Роман // Новый мир. – 2012. – № 6.

*Я вошел сюда с помощью двери,
Я пришел сюда с помощью ног,
Я пришел, чтоб опять восхититься
Совершенством железных дорог...*

БГ

Дмитрий Данилов продолжает экспериментировать. Через два года после успешного романа «Горизонтальное положение» выходит путевой отчет «146 часов» и роман «Описание города». В той же манере, в том же стиле. Аскетичное наблюдение жизни под даниловски.

«146 часов» – железнодорожная поездка по маршруту Москва – Владивосток. Семь ночей и семь дней. Описания короткие – одной строкой, одним абзацем. Будто пролетающие за окном картины: вот подмосковные леса начали таять в тумане, вот храм на возвышенности, вот две цистер-

ны на параллельном пути... Даже Косой из «Джентльменов удачи» вспомнился: «Вон мужик в пиджаке, а вон оно – дерево!» Обсуждения в вагоне тоже похожи на картину, точнее сказать, панораму, а за окном – куча мелочей жизни: надпись «За КПРФ» на случайном заборе, расчлененный трактор «Беларусь», «еще гаражи, и еще». Словом, «все как везде», и автор делает справедливый вывод, что «из окна поезда практически любой российский город выглядит хаотичным и безобразным».

Описывать пролетающие за окном населенные пункты – это одно, а вот провести полноценный анализ конкретного города – совсем другое. Этим анализом в «Описании города» и занимается Данилов. Двенадцать ежемесячных поездок – двенадцать глав.

Сперва писатель, почти как в типичной курсовой работе, ставит цели исследования и мучительно ищет объект. В итоге выбирает «город на другую букву». Именно так – Данилов напрямую не называет объект своего исследования, хотя дает читателю массу подсказок: в городе есть ряд гипермаркетов, чье «название обозначает геометрическую фигуру», офис адвоката Нужного, железнодорожная станция «с чудовищным названием, образованном из фамилии крупного деятеля большевизма», намертво приклеенным к слову «град» и так далее. Любишь загадки – бери карту, вооружайся энциклопедией и проверяй города, подходящие под описание. Это в какой-то степени даже близко к детективному жанру: если последовательные описания вам не особо интересны, то можно хоть кроссворд попробовать разгадать.

Большинство даниловских описаний уже во втором романе подряд со стороны выглядят безумно скучно: типичный киоск, типичный бомбила, типичная главная улица... Николай Александров назовет это «описанием локуса безжизненности», Кирилл Анкудинов – повторяющимся фокусом. Захар Прилепин отметит, что «нарочитый примитивизм» прозы Данилова кажется простым только внешне. Будничные фотографии

города порой уходят в сторону, и автор, в очередной раз увидев что-то типичное, начинает с легким юмором любопытствовать. А растет ли что-то на склоне возле типичной избушки? И «если растет, то как же, интересно, летом картошку или морковь не смывает со склона дождями»? Или возьмем философское размышление, почему ритуальный центр называется именно ритуальным, а не похоронным. И почему в домике с вывеской «Памятники» вам вряд ли обрадуются, если вы решите заказать у них «памятник Пушкину для дачного участка».

Иногда ход мысли писателя напоминает сбивчивый, но абсолютно логичный рассказ маленького ребенка. Вот условный малыш возвращается с хоккейного матча, где он был вместе с папой, и мама спрашивает взволнованного сынишку: «Ну, что видел?» И он рассказывает: «...и потом было еще по две попытки, и никто больше не забил, то есть вратарь команды <...> отразил все три броска и таким образом стал героем матча, все присутствующие долго победно орали, а вратарь-триумфатор долго и нелепо размахивал своей вратарской клюшкой, обозначая триумф». Как справедливо сказала о стиле Данилова Ирина Роднянская, «это – проза, но опирающаяся на живую, неписьменную речь, как настоящая поэзия, и, как поэзия же, совершающая возгонку реальности – не возвышающей лексикой, а самим своим строем». Однако подобный строй речи и «кроссвордное» повествование начинают утомлять. Особенно если читатель угадал город на десятой странице.

Согласно одной из версий, Маяковский писал свои стихи «лесенкой», поскольку за них платили построчно, так что из-за особой формы стиха поэт мог заработать больше. Постоянно натываясь на обороты-загадки типа «гостиница, название которой совпадает с названием одного из областных центров Украины», возникает своеобразное подозрение, что и Данилов гонится за тем же. Да напиши ты «Гостиница «Чернигов», и хватит уже...

Но тут осеняет – если последовательно идти за автором, именно такая реакция и должна быть – то есть мы близки к цели: «Вот оно. В процессе перехода перекрестка по диагонали от сквера с памятником выдающемуся русскому поэту к Центральному универсальному магазину почувствовалось, что описываемый город начинает входить в печенки». И уже не только для Данилова, но и для читателя все начинает казаться предсказуемым. Писатель сам устал от однообразных поездок.

А в финале, почти как в типичной курсовой работе, автор подводит итоги: цели достигнуты, «город вошел в печенки» и его даже «удалось полюбить». Последняя фраза романа ставит жирную точку: «Надо как-нибудь так сделать, чтобы больше сюда не приезжать». Казалось бы, точку можем поставить и мы, но...

Писатель на протяжении всего романа так и не раскрывает нам тайну города. И если читать Данилова поверхностно, то выходит картина, будто типичный человек отправился в случайный город, и вылилось все это в серое документальное повествование. Но мир, создаваемый автором, на самом деле обладает огромной многогранностью, потому и встречающиеся в романе назойливые подсказки неслучайны. Ну скажите, кто такой этот неоднократно повторяющийся в тексте «выдающийся русский писатель», живший «в доме 47 по небольшой тихой улице, названной в честь одного из месяцев»? Выясняется, что это ни кто иной, как любимый писатель Данилова, черты стиля которого он отчасти перенял и влил в собственный неповторимый даниловский стиль.

А теперь разгадки. В журнале «Русская жизнь» пятилетней давности (№ 7 за август 2007 года) обнаруживается очерк Дмитрия Данилова «Необъятный маленький Брянск», где Данилов и называет Добычина любимым писателем, а еще уточняет (в главке «Дом 47»): «Добычин жил в Брянске с 1918-го по 1934 год. Город он, судя по всему, не любил,

годы, проведенные здесь, считал, по его собственному выражению, «убитыми». Тем не менее, здесь он написал большую часть своих рассказов, здесь начал писать свой итоговый текст – роман «Город N». Реалии нелюбимого Брянска обильно отразились в его сочинениях – предельно лаконичных, точных, холодных, безэмоциональных, похожих на небольшие прямоугольные бруски чистого прозрачного льда».

Кроссворд разгадан.

Алексей КОЛОБРОДОВ

ВОРОШИЛОВГРАД И МИРГОРОД

Сергей Жадан. Ворошиловград. – М.: Астрель, 2012. – 448 с.

Давно не бывал я в Донбассе,

Тянуло в родные края.

Туда, где доньше осталась в запасе

Шахтерская юность моя, –

была такая советская песня Никиты Богословского на стихи Николая Доризо. Ее проникновенно исполнял певец Юрий Богатиков, народный артист УССР.

Роман Сергея Жадана «Ворошиловград», сильный без дураков, уже нашумевший, увенчанный премией Би-Би-Си «Книга года», – ровно об этом. Разве что шахтеров следовало бы заменить на «газовщиков», футболистов и цыган.

Герой «Ворошиловграда» – молодой человек Герман, занятый, по нынешнему обыкновению, какой-то мутной деятельностью в крупном городе, получает известие. Брат его, владелец заправки и автосервиса на трассе близ небольшого городка в Донбассе, без объяснений укатил в Амстердам (да-да, в подтексте рекламируется эта легкость необыкновенная перемещения из Украины в столицу европейского кайфа), и теперь с бизнесом надо что-то делать. Герман пытается, и всё заканчивается, в общем, хорошо.

Пафос основного конфликта почти есе-

нинский – на малую родину Германа, половодье чувств и островок воспоминаний, наступает чужое каменное и стальное; брызжет новью на его поляны и луга. Шатается и скрипит патриархальный уклад. Правда, знаки несколько поменялись – заправка и сервис имеют определенное отношение к индустрии и технологиям; у корпорации же, воюющей с Германом и его компаньонами за землю, новь весьма архаичная, кукурузная. Колесо эволюционной, социальной сансары.

Кажется, пока никто из рецензентов не обратил внимание на прямую переключку титлов – «Ворошиловград» и «Миргород». И очевидное противопоставление мирному городу военного поселения – фамилия многолетнего наркома обороны, первого красного офицера – символ советского милитаризма. Двусмысленный, конечно у Жадана: не «ворошиловский стрелок», а клятва юных блатных – СэБэНэВэ. («Сука буду на века»; официальный вариант – «Советский боевой нарком Ворошилов»).

Жадан гоголевские реминисценции педалирует сознательно, а травестирует неосознанно. Он – эдакий Гоголь-хипстер, со страстью фотографирования всего и вся ручной мыльницей. Пусть с качеством проблемы, но схема зависания в соцсетях – «прикол + креатив» реализуется с блеском.

Другое принципиальное отличие – угрюмая мистика Гоголя (наш ответ европейской готике), настоящая на закарпатских болотных туманах («Страшная месть», «Вий»), у Жадана оборачивается прирученным магическим реализмом. Даже не классического латиноамериканского, а постмодернового балканского извода, как будто ром смешали с ракией и разбавили до крепости бражки.

Оптика Жадана размыта, пластика приблизительна, мотор и мясо сюжета – вечная дорога с экзотическими приключениями и персонажами – вполне умозрительны. Равно как футбольный «матч смерти» – сюжетный контрапункт первой части, трудовые будни автосервиса, стрелка и разборка, любовь с прекарными взрослыми женщинами (тут

явственней всего проявляется инфантилизм, вообще присущий этому роману).

Жадан пишет о футболе – и не дотягивает даже до уровня среднего комментатора; команда покойников – по замыслу, бесполойных и героических – чисто тинейджерская массовка, утренник в седьмом классе. Секс – как вялая сцена в арт-хаусном фильме, хорошо, хоть без непристойных укрупнений.

Возможно, впрочем, что по-украински (на русский «Ворошиловград» переведен З. Баблюном) оно выглядит куда как вкусно и сочно. Однако есть подозрение, будто «Ворошиловград» как раз проигрывает в оригинале – сдастся мне, на русском имитировать полнокровие как-то проще, а врать сподручней. Молодые языки приспособлены для имитации меньше.

В хипстерском запале погони за приколом-креативом Жадан грешит не против реальности, шут бы с ней, но против художественной правды. Бэкграунд одного из персонажей:

«Сам Коча всё больше пил, и развал страны прошел мимо его внимания. В конце восьмидесятых, когда в городе появился серийный убийца, власть и правоохранительные органы подозревали Кочу. Однако арестовать его не отважились, потому что просто боялись. Соседи тоже были уверены, что это Коча насилует звездными душистыми ночами работниц молокозавода, протыкая их после этого острым металлическим предметом. Мужчины его за это уважали, женщинам он нравился».

Ну, объясните мне, в каком макондо возможно столь нежное отношение к маньяку? Оно понятно: хотелось, так сказать, смешать пласты, ведь и Маяковский с Хармсом любили смотреть, как умирают дети, которые гадость. Однако коктейльное дело знает не только «кубу либре», но и мед с дегтем – и сей микс еще не самый рвотный.

Тем не менее, я с порога назвал «Ворошиловград» сильным романом, хотя стоит некоторых трудов обозначить главное его

достоинство. Пожалуй, оно в цельной и яркой ностальгической мелодии, знакомой, но привязчивой, как донбасская песня Богословского-Доризо-Богатикова, равно как ее предшественница про курганы темные. В ощущении неразрывности связи времен, в магнитной аномалии не оставленной Господом родины. Именно поэтому не возникает вопросов, когда Герман из случайного гостя на этом празднике жизни без всяких романов воспитания превращается в крепкого туземного авторитета. Футбольное правило – в родном доме и стены, и цыгане, и шунды, и мертвецы...

Возможно, этот мотив если не противоположен, то не магистрален авторскому замыслу. Сергей Жадан – звезда явления под названием українська сучасна література (т.е. современная украинская литература), и в этом статусе вроде бы должен быть чужд имперской ностальгии. Но статусы хороши в соцсетях, а не в прозе.

P.S. Надо сказать, что гоголевская закуска у писателей Украины (или авторов украинского происхождения) – отдельный и большой сюжет. Если российская проза вышла из шинели, то украинская сучасна – из Миргорода.

Сектантский боевик «Библиотекарь» Михаила Елизарова – это же «Тарас Бульба» – возьмем даже бряцающие арсеналы, драматургию батальных сцен, идеалы Веры и Братства, за которые и жизни не жалко, линию воющих вместе, и по разные стороны отцов и детей...

В «Книге Греха» Платона Беседина и в главном ее герое, которого так и кличут Грех, за всеми Достоевскими наворотами, нет-нет, да и откроются искаженные смертной мукой черты Колдуна из «Страшной мести».

Украинский «Код да Винчи» – роман киевлянина Алексея Никитина «Маджонг», выдвинутый в этом году на Нацбест – и вовсе ставит Гоголя в центр фабульной схемы.

Татуированные демоны Адольфыха тащат по своим роуд-муви сонного Вия вечных девяностых.

В Миргород под именем Ворошиловграда всё это сумел собрать Сергей Жадан, пожертвовав, впрочем, совсем немногим – самим Гоголем.

Борис КУТЕНКОВ

В ПРЕДВКУШЕНИИ ТИШИНЫ

Анна Гедымин. Осенние праздники. Избранные стихи. – М.: Время, 2012. – 224 с.

Творческая судьба Анны Гедымин, несмотря на достаточно молодой по литературным меркам возраст автора, тянет за собой солидный шлейф достижений. В «Википедии» Гедымин упоминается как «русская и советская поэтесса», первая публикация – в газете «Московский комсомолец» – состоялась в 17-летнем возрасте (1978), спустя семь лет увидела свет и дебютная книга. Недавно, при чтении автобиографической прозы Сергея Гандлевского «Трепанация черепа», мою улыбку вызвала любопытная деталь о «нашем коммерческом директоре, Ане Гедымин по прозвищу “Дюймовочка”», относящаяся к 1994 году и работе в журнале «Иностранная литература» (прозвище было дано, вероятно, из-за миниатюрного сложения поэтессы). Получается – с молодых ногтей Анна в литературном процессе. А ещё она – автор детских стихов, тем и замечательных, что не теряют своей актуальности, – можно читать маленьким чадам независимо от эпохи на дворе. Например, такое – изыщное и забавное: «Он не живёт в опрятных горницах, / Сухой песок ему кровать, / Зато имеет право горбиться / И привилегию – плевать» («Про верблюда»). Первое избранное, включающее стихи, начиная как раз с 1978 года, – время посмотреть, как, цитируя поэтессу, «выглядит итог во всей своей красе» (хотя бы предварительный).

Минусы у сборника тоже есть – с них и начнём. Сразу же подтверждается мысль о

том, что одарённость поэта совсем не пропорциональна таланту составления книги. Высвечивается стандартный минус большинства избранных – самый очевидный принцип расположения текстов в хронологическом порядке, от ранних к поздним и новым, ещё не опубликованным в прессе. Надо заметить, что в случае с Анной Гедымин чувствуется развитие, – и стихи последних лет производят более достойное впечатление. Попытка представить эволюцию оборачивается демонстрацией с первых страниц ещё не устоявшегося голоса, начальных текстов, показывающих не сложившегося поэта, рано приобретшего известность. Опасность заключается в том, что иной читатель может поставить «диагноз» сразу, не дочитав до конца. Хочется дать совет уйти от «вечных» тем, от тривиальных женских сюжетов с центральным мотивом любви – то счастливой, как водится, то невзаимной, – и пожелать их индивидуального воплощения в творчестве. И есть доверие, что это воплощение найдётся, – благодаря несчастным, но метафоричным и лапидарным «вспышкам» точных жизненных наблюдений:

Люди сильные. Люди слабые.
Слабый падает. А иногда
Вдруг, случается, сильный падает,
Только падает, как звезда.

Грозовой разорвётся вспышкой,
Быстрым ливнем остудит зной –
Потому что поднялся слишком
Высоко над этой землёй.

Вообще, некоторые тексты из ранних вызывают противоречивые чувства. Даже во «взрослых» стихах заметен след некоей хрестоматийности – кажется, что именно они пригодны для изучения в младших классах школы: для этого в них есть всё – достаточная стандартизированность, запоминаемость, предельная доступность смысла. Так и тянет употребить термин «классика», – с одной стороны, момент вроде бы положи-

тельный, но на другом полюсе восприятия – возникают оговорки, что далеко не всегда перечисленные особенности коррелируются с новизной и яркостью. Кое-где хочется несколько смягчить слова Бродского про девочек, которые «остригают челочки, сами не зная – под кого: под Ахматову или под Цветаеву». Ранняя Гедымин – знает: тут явно первый случай. Вот ритмическая калька («Мы не умеем прощаться, – /Все бродим плечо к плечу. /Уже начинает смеркаться, / Ты задумчив, а я молчу») – с характерной ахматовской сдержанностью:

Нам бы свадьбу сыграть честь по чести
Или плюнуть – уйти кто куда...
Полбеды, что не можем быть вместе,
Что расстаться не можем – беда.

Аллюзии к Ахматовой встречаются и далее. При этом диалог с великой предшественницей иногда носит полуслучайный характер, – утверждаешься во мнении, что всё же невозможно представить двух более разных поэтесс. Если отношение к поэзии Ахматовой как к интимному дневнику обманчиво (как писал Эйхенбаум, «Лицо поэта в поэзии – маска. Чем меньше на нём грима – тем резче ощущение контраста. Получается особый, несколько жуткий, похожий на разрушение сценической иллюзии, приём. Но для настоящего зрителя сцена этим не уничтожается, а наоборот – укрепляется»), то в поэзии Гедымин сценический момент словно бы не имеет места. «Обобщённость» эмоции, способность войти в немедленный, не опосредованный эмоциональный резонанс с читателем – и порождает доверительность, за которую можно многое простить. И уже не так важно, «где кончается явь / и начинается быть» (заключительные строки книги). Граница между ними контекстуально подвижна: явь – как тонкая плёнка, покрывающая лирический сюжет, быть – личные биографические перипетии. Гедымин не относится к числу поэтов, ориентированных на создание собственного поэтического языка: для неё

важнее мысль, воплощённая в слове, и путь «от сердца к сердцу».

Чем ближе к финалу книги – тем раскованнее становится ритм, обнажаются – и одновременно индивидуализируются – грани лирического сюжета. Классическая гладкопись стихов советского периода уступает место стихопрозе, – иногда сковываемой лишь вторичными признаками вроде рифмы и межстрочной разбивки, как в наглядной «Зарисовке с натуры» (о заключительном катрене этого стихотворения критик Владимир Козлов писал, что «язык Творения, когда он используется в поэтических картинах, добавляет им духовной перспективы»).

В воскресенье к церкви бредут
неумелые богомолки.
Одна – с подростком сыночком
(серьга, наколки).
Но он удирает в малинник
и всю заутреню охотится по кустам,
Полагая, что бог гнездится именно там.

Не знаю, как насчёт «духовной перспективы», – однако появляется «в предвкушении тишины» то «редчайшее ощущение счастья», которое инкриминируют поэтесе – разными словами – и Лев Аннинский, автор предисловия, и Инна Кабыш, и Бахыт Кенжеев. Эта открывшаяся перспектива придаёт стихам не то чтобы «драматичность» (как сказано в аннотации), – но ощущение покоя. После осеннего праздника, когда и на душе спокойно, и дышится легко. И название книги, на мой взгляд, выбрано на редкость удачно.

И пёс, будто зная, что жизнь одна,
От дома, от спелых грядок
Летит, чтобы вылакать всё до дна –
И счастье, и непорядок.

Счастье, противопоставленное беспорядку, как бы избирает роль аксиомы, – и эта философская позиция, заметная в новых стихах, благотворна. Однако затруднительно

предсказать, куда пойдёт вектор развития. Эта неопределённость и позволяет заключить, что Анна Гедымин – поэт молодой, и, несмотря на творческую зрелость, находящийся в динамичном развитии и обещающий удивить новыми оборотами голоса.

Сергей СЛЕПУХИН

ЧИТАЯ СЕБЯ ИЗНУТРИ

Алиса Касиляускайте. Обратная перемотка. – М.: «Ключ-С», 2012. – 112 с.

Идея составить поэтический сборник, продвигаясь из сегодняшнего дня ко дню вчерашнему, отнюдь не нова. Несколько лет назад она уже пришла в голову автору книги «Обратная лодка» Владимиру Гандельсману, убежденному, что возвращение к истокам подобно путешествию по китайскому свитку Цзе Сисы, где «у дальнего берега обратная лодка видна...».

Москвичка Алиса Касиляускайте решила использовать тот же классический прием, но вооружилась более современными «техническими средствами передвижения». Она написала сборник стихов и назвала его «Обратная перемотка», что и объяснимо, ведь Алиса из семьи киношников.

Cinemotion. «Отмотав в самый конец, можно вернуться в самое начало», чтобы «понять, что почти ничего не изменилось». «На два кадра вперед», «дальше пленка обрезана», «белый шум и склейка», «сигаретный ожог на пленке в углу экрана». Перематываешь «в поисках настоящего», «перед глазами титры», «А время переходит на транзит / И переносит базу данных в память».

Папа, «как называется тот эффект, когда вспыхивает на черно-белом красное» – девичьи губы, обложка тома Некрасова, капелька крови? Этот кадр бьется у меня «в городке головы» всю ночь, а утром «выходит на простыни через кожу»...

Стихотворение «Рождество в Литве», «Su Sventom Kaledom!», «обратная перемотка» в детство. Вслед за Алисой и я ускорю пленку назад. Девяносто четвертый, наше знакомство с ее родителями. Йодкрене, Нида, маленькая девочка карабкается на сцену, чтобы, как мама, петь в микрофон это удивительное караоке. Несравненная, никогда до этого не виданная забава!

Мотаем дальше. Десять лет – восемьдесят четвертый. Уфф! Далеко проскочил! Алиса еще не родилась! Нет, все правильно! Маленькая зачуханная рюмочная в Свердловске. Непьющие, мы пришли сюда с другой почтить память любимого писателя. По радио объявили, что в Париже умер автор великой «Игры в классики». Что он скончался от СПИДа, мы тогда не знали. Да и этого страшного слова – СПИД – не существовало еще, слава Богу, в нашей жизни.

«Вдох. Кортасар. Молитва». Упомянутое автором имя – ключ к пониманию сборника Алисы. Путь домой спотыкающегося школьника «*между светлостью и светимостью*» представляется неисправимой фантазерке Алисе образом Времени. Жизнь задает молодому поэту каждодневное домашнее задание – поиск в «серой шкале» повседневности прозрачной, неуловимой грани «*между светлостью и светимостью*».

Внутреннее родство «Обратной перемотки» с художественным мышлением Кортасара в том, что в книге «Обратная перемотка» нет строгой структуры. Здесь разрешается все переставлять местами, читать с конца или с любого места, устанавливать закладки, менять настройки шрифта и фона, подстраивать их под себя. Книгу пронизывает экспериментаторский и игровой дух, неистощимая фантазия автора открывает простор для воображения и мысли, читатель становится соучастником акта творчества поэта.

Первый опыт Касиляускайте отличается необычная манера письма, калейдоскопичность сюжета, смешение стилей, условные аллюзии, многослойная сим-

волика, испытание новой ритмики и рифм.

Смысловые пары
Из манки и облаков,
Малины и сливы,
Дождя и дорожной пыли...
Срифмовать бы с чем-нибудь
Запах твоих духов,
Если б хоть духи
У тебя
Были.

Великолепные находки! Рассвет выступает «*как сыпь на щеке между облаков*». «*Небеса / Как стынущая чашка / Манной каши*». Дождь – потому что «*на небе не до конца заверчен кран*». Город стоит «*строгой / Женой посла, / Мнет как перчатку / Извилистый лес в руках*». «*В воздухе – / Чайки-туристы и стук подков*». «*И время мнется и / Ложится складкой / Как утром след подушки / У лица*».

Слух, обоняние, осязание, зрение обострены до предела. Звуки, цвета, запахи это тоже герои стихов. Алиса умеет почувствовать их и одеть в слова. Вы знаете, что «*У аэропортов и банкоматов / И запахах в рифму*»? Что «*не вкусом, а позвонком*» можно ощутить испорченное молоко в кадке? Увидеть в схеме метро Дерево жизни? Почувствовать, как внутренний голос, «*сонно бубня под ухом*», «*мнит себя третьим лишним*»?

На каждом лице два полузакрытых
Окна с таблицей,
Сеткой неполного доступа,
Фильтром от небылицы,
В каждом следящий прибор,
Анализатор большого мира,
Все обращенные
В самое их нутро,
Все отражают
Нечто
Куда интереснее,
Чем метро

Что отличает поэта от непоэта? Поэт – это тот, «*кто без конца играет с собою в*

«замри». Кто по ночам грызет «заменитель слова». В чьей черепной коробке «бьется чертов гештальт», иногда «пробивает» и «вылетают пробки». Кто не желает и не может «заземлиться». Это существо с очень хрупкой и нежной организацией.

Ведь стихи –
 Это музей граблей
 И подводных рифов,
 На которые кто-то
 Нашел нежелезным брюхом.
 Это – кунсткамера,
 Место, куда за ухо
 Кто-то приводит
 Любимых своих чудовищ.

Поэт слаб и одинок, ему так хочется
 «вернуться домой, / Повесить себя через кухню / Наискосок / На прищепку. / Как мокрый пустой носок. / Без конфет и подарков».

Точка –
 Вместилище единицы,
 Начало пути,
 Эталон количества отмеренной
 Господом доброй воли –
 Будет равна игольному ушку,
 О котором спорят.
 И той танцплощадке, что ангелы
 выбрали в нем.

«Обратная перемотка» – это книга открытий молодого и, я уверен, многообещающего автора. Стихи Алисы Касиляускайте лишний раз доказывают, что поэтическое представление об устройстве мира – детское, фантазия – неумная, а жажда жизни – неумержимая. Быть стихотворцем – значит «жить на языке заводной самодельной бомбы». «Жить вопреки», и прежде всего, самому себе. Принимать чужую боль за свою: «мне больно – мне больно – мне больно!» И понимать, что каждому воздастся «по молитве, а не по вере».

Олег РОГОВ

«...НА КНИЖНУЮ ПОЛКУ ВОТКНУТ»

Лев Лосев. Стихи. – СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2012. – 600 с.

Полное собрание стихотворных произведений Льва Лосева вышло в традиционном оформлении поэтической серии издательства. Ранее в ней появлялись книги Р. Мандельштама, Л. Аронсона, О. Григорьева и других легендарных поэтов, чьи тексты бытовали вне официоза и оказали влияние на формирование современного поэтического языка.

Лев Лосев начал писать позднее, его стихи появлялись в эмигрантской периодике с 1979 года и производили блестящее впечатление. Я помню его подборку в одном из первых альманахов «Часть речи», которая сразу привлекла внимание центонной насыщенностью и какой-то особой, доверительно-домашней, интонацией, оставаясь сугубо в литературном измерении.

Это качество присуще очень многим лирикам в их отношении к великим предшественникам – в беседах, критике, исследованиях. Но собственно в творчестве оно проявляется довольно редко, у Лосева же оно тотально. После него вереницы цитат у более поздних поэтов (куплетность Кибирова и разухабистость Еременко) кажутся игрой, пивом после водки, Лосев же живёт в истории русской литературы как-то одновременно по-барски и, в то же время, смиренно. Немного поясню – если пресловутое «своё» проявляется через «чужое», то это – да, предполагает некое смирение, умаление себя, я бы даже так сформулировал. А барская вальяжность – это постоянное присутствие среди наших «олимпийцев» как в домашнем кругу.

Лосев «как живой с живыми говорит» (не хочется писать «говорил»). Его стихи словно бы выплывают из разговорного

языка, из обыденной речи, но речь эта литературна и цитатна, что придаёт ей некое новое измерение – Лосев как бы проделывает обратное сальто, возвращая стихи классиков трех веков из литературы в речь: как живой (с) живыми говорит. Именно так – значок копирайта посреди чужой фразы.

МОЯ КНИГА

Ни Риму, ни миру, ни веку,
ни в полный внимания зал –
в Летейскую библиотеку,
как злобно Набоков сказал.

В студёную зимнюю пору
(«однажды» – за гранью строки)
гляжу, поднимается в гору
(спускается к берегу реки)

усталая жизни телега,
наполненный хворостью воз.
Летейская библиотека,
готовься к приёму всерьёз.

Я долго надсаживал глотку
и вот мне награда за труд:
не бросят в Харонову лодку,
на книжную полку воткнут.

Иван КОЗЛОВ

ФРЕСКА, СКАЗКА И ПИФ-ПАФ

«Цезарь должен умереть», фреска

Фильм классиков итальянского кино Паоло и Витторио Тавиани – это не экранизация известного романа Рекса Стаута, как можно было бы судить по названию. Это небольшая, меньше, чем на полтора часа, камерная картина. Каламбур, однако – действие фильма происходит в тюрьме, где труппа заключенных ставит шекспировского «Юлия Цезаря».

Я каждый раз жалею о том, что закадровый перевод не доносит до нас специфику акцента персонажей. В данном фильме актерам-зэкам предлагается говорить на своём диалекте, а конкурсный отбор проводится весьма специфически: им предлагается произнести некоторые фразы сначала жалобно, а потом агрессивно. Фразы эти – из типичного полицейского опроса: имя, фамилия, адрес и так далее.

Зэки достаточно интеллигентны («Как мог Шекспир казаться мне скучным?!»), сроки у них немалые, статьи серьёзные: наркоторговля, бандитизм, убийства. Играют они всерьёз – сначала думаешь, что они вживаются в роли, но потом понимаешь, что это уже «другая драма» с тем же текстом. Древнеримские страсти, оказывается, вполне созвучны современному бандитским разборкам. Цезарь предстаёт паханом, его устранение выглядит как «завал» ставшего неприемлемым лидера ОПГ, а знаменитая речь Антония произносится в тюремном дворе, и ей внимают рядовые заключенные в окнах, забранных решетками.

Фильм ни разу не скатывается к пародии, высокая нота трагических страстей держится на протяжении всей ленты. Любопытно, что главные роли исполняли реальные зэки во время своей отсидки (у каждого от 15 лет до пожизненного).

«Цезарь должен умереть» получил высшую награду Берлинского кинофестиваля 2012 года – Золотого Медведя.

«Гавр», сказка

Новый фильм Аки Каурисмяки сначала разочаровывает, а потом пленяет.

Любители его лент не найдут в этом фильме «типично финских» мотивов – многозначительного молчания и парадоксальных поступков персонажей. Ну вот, скажут, Каурисмяки стал всего-навсего одним из европейских режиссеров. Наверняка припомнят позднего Йоселиани (который, впрочем, выиграл, уйдя из грузинского уюта во всеевропейскую, так сказать, отзывчивость).

Но уже через несколько минут режиссер крепко «берёт» зрителя. Отнюдь не сюжетом – мудрые стоические бедняки портового города, помогающие и друг другу, и мальчишке из Габона, нелегальному иммигранту, пришли то ли из голливудских конфетных фильмов, то ли из советского соцреализма. Как двигатели сюжета – да, но не как типажи. Любимые актеры Каурисмяки Андре Вильмс и, особенно, Кати Оутинен своим присутствием снимают все вопросы, а систематическая эксплуатация однотонных цветовых поверхностей в кадре завораживает и гипнотизирует.

Ещё один мощный плюс фильма – реквизит. Экранная картинка под завязку набита старомодными вещами, которые сопровождают героев по их жизненному пути, они как бы втащили

всю эту допотопную мебель и технику в современность, а вместе с ними – своё время с его идеалами и принципами – верности и преданности.

Фильм получил в Каннах экуменическую премию и премию критиков, отдельного приза удостоилась собака Лайка, сыгравшая в фильме одну из главных ролей.

«Шпион, выйди вон», пиф-паф

Триллер Томаса Альфредсона снят по одноименному роману классика шпионской литературы Джона Ле Карре. Насчет одноименности надо пояснить, в оригинале книга называется «Лудильщик, портной, солдат, шпион», но, поскольку это считалка, отечественный перевод названия вполне адекватен.

Стильная атмосфера холодной войны 70-х упакована в замысловатый сюжет о предателях в высших эшелонах МИ-5. Гэри Олдмен играет ближайшего помощника руководителя британской разведки; в результате позорного провала его отправляют на пенсию, и уже в этом социальном статусе он разоблачает коварные происки советской разведки.

Фильм основан на добротном литературном материале, из которого режиссер сделал «производственное» кино. Это уже не первый «скучный» фильм о разведке, но именно такой подход позволяет увидеть «рыцарей плаща и кинжала» в их сугубо бюрократическом обличье. В этом, собственно, и неожиданность фильма, а отнюдь не в разгадке – кто же из сотрудников, носящих кодовые имена из детской считалки, главный злодей. Впрочем, тоже вполне канцелярского склада.

Фильм выдвигался на «Оскара» (в номинациях на лучшую мужскую роль, сценарий и музыку), участвовал в программе Венецианского кинофестиваля, но остался обделен призами. Зато сейчас он претендует на премию европейской киноакадемии, обладатель которой будет объявлен 1 декабря.

Редколлегия журнала:

Анна Сафронова
Алексей Александров
Алексей Голицын
Алексей Слаповский
Олег Рогов

Подписано в печать 22 октября 2012 г.
Журнал отпечатан в типографии
ИП Сергеев

Цена свободная

Рукописи принимаются по адресу:
E-mail: safronova-volga21@yandex.ru

Электронная версия журнала:
<http://magazines.russ.ru/volga/>

При перепечатке ссылка на «Волгу» обязательна.